

Борис Гречин

*Когда учителю
было семнадцать*



Борис Гречин

Когда учителю было семнадцать

«Автор»

2026

Гречин Б. С.

Когда учителю было семнадцать / Б. С. Гречин — «Автор», 2026

Семнадцатилетнюю Дарью Смирнову, ученицу выпускного класса Православной женской гимназии, никто не понимает. Одноклассницы считают её «блаженной Феодорой», учителя — маленькой и неразвитой сельской поповной; её опекун, сестра умершего отца, прочит девочке предсказуемое будущее православной матушки и сватает её к знакомому семинаристу. Единственный, с кем Дарья чувствует свою «единокровность», — учитель английского: умный, ироничный, нестандартный. В последний день работы Александра Азурова в школе девушка обратится к нему со странной просьбой. Этот роман — не о романтической любви между мужчиной и женщиной, а о поиске своего пути и трудностях духовного наставничества. «Когда учителю было семнадцать» — заключительная часть тетралогии, в которую также входят «Русское зазеркалье», «Евангелие Маленького принца» и «Последняя Европа».

© Гречин Б. С., 2026

© Автор, 2026

Борис Гречин

Когда учителю было семнадцать

Краткое предисловие Олега Поздеева

Дорофея (Дарья) Аркадьевна Смирнова, сама себя называвшая простой русской женщиной, круглый год одиноко, подобно монахине или, точнее, пустынножительнице изначального христианства, жила на своей даче, зарабатывала на жизнь изготовлением игрушек и умерла от внезапно развившейся болезни сердца в тридцать один год. В течение всей своей короткой жизни она настойчиво отказывалась от титулов вроде «гуру», «духовный наставник», «ста-рица» и им подобных; даже «матушка Дорофея» вызывало у неё улыбку.

И между тем, конечно, она *была* настоящим духовным наставником — и моим, и тех людей, которым посчастливилось именно в этой удивительной женщине разглядеть источник живой воды. Об этом я уже рассказал в романе «Евангелие Маленького принца».

Читатели моего первого романа знают, что личные вещи покойной согласно её устной воле были распределены между её учениками. Юлии У. достался «Личный дневник», который его хозяйка вела в своём выпускном классе.

Совсем недавно Юлия связалась со мной и сообщила, что Дарья Аркадьевна — напому, после её смерти прошло уже три года, — наконец дала разрешение на публикацию «Дневника».

Это «разрешение», якобы полученное с того света, — конечно, всего лишь способ теперешней владелицы рукописи (ведь что такое любой дневник, как не рукопись?) сказать, что она не против её публикации. Хотя... В конце концов, сама автор дневника при жизни доказала, что невозможного в духовном мире для неё почти не существует. Но для читателя, который с Дарьей Аркадьевной не был знаком лично, последнее утверждение покажется очень натянутым, а поэтому оставим его за скобками. Безусловно, у Юлии были свои собственные причины придумать благочестивую легенду.

Есть множество соображений как против, так и в пользу публикации этого замечательного документа, и последние соображения для нас, учеников Дорофеи Аркадьевны, перевешивают первые. Как минимум, оттого имеет смысл опубликовать «Дневник», что им окончательно разрешаются в благоприятную сторону сомнения о характере дружбы между нашим учителем и её собственным наставником, высказанные Ольгой Николаевной Смирновой, двоюродной сестрой покойной. (Боюсь, для Ольги Николаевны даже это не будет доказательством: она сможет при желании прочитать иные страницы так, как ей захочется, или вовсе заподозрит нас в том, что этот дневник мы сочинили сами.)

Наверное, я должен сказать о том, что рукопись прошла редакторскую правку (в первую очередь — рукой Каролины: именно она занималась расшифровкой почерка). Эта правка в основном касалась пунктуации (в самом дневнике очень скудной) и, в нескольких местах, орфографии. Также мы восстановили все английские фразы, которые Дарья Аркадьевна записывала порой не вполне точно, и добавили необходимые, как нам показалось, примечания. Стилистической правкой тоже ведала Каролина: степени серьёзности этой правки не знаю, но верю, что она выполнялась деликатно. Разумеется, мы по-своему расставили абзацные отступы и разделили текст на части, снабдив их нашими заголовками.

Искренне надеюсь на то, что повесть найдёт своих пусть и немногих, но верных читателей. Мы озаглавили её «Когда учителю было семнадцать». Мы, ученики Дорофеи Аркадьевны, думаем, и не могли её назвать никак иначе.

О. В. Поздеев

июль 2026 года

Часть первая

В гимназии

30 января 2009 года, пятница

По случаю моих семнадцати лет я получила сегодня три подарка. Один — от Оли, моей двоюродной сестры: «Изречения египетских отцов». Издание новое, но книга очень старая, написана в третьем веке. Другой — от Сони: «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Третий — от Ксюши Пастуховой: вот этот самый «Личный дневник», в котором сейчас пишу. Не будь этого третьего подарка, я бы и думать не стала про все эти словесные художества.

С Ксюшей мы вообще-то не дружим, но она богатая, ей ничего не стоит разориться на такую стильную штучку, ещё и с замком. Замочек лишний, наверное: кому только придёт в голову покушаться прочитать, кому могут быть интересны писания православной одиннадцатиклассницы...

Но использовать его я буду.

И он соблазняет: ему, такому крошечному, но с настоящим ключом, веришь; веришь, что можешь написать в этой тетрадке всё что угодно, даже самое тайное, даже самое бесстыдное...

Бесстыдного мне, конечно, писать не хочется: я не какая-нибудь Наташа Яковлева. (Вот, осудила ближнего — сразу, однако, и бесстыдное появилось.) Я не она. Но в семнадцать лет пора бы уже начать отвечать на этот вопрос, на который люди всю жизнь отвечают, да так и не получается у них.

Кто я такая?

Я — Дорофея Аркадьевна Смирнова, 1992 года рождения, несовершеннолетняя, пол — женский, ученица Православной женской гимназии «с проживанием» (ну то есть со спальнями на третьем этаже). Я сирота: мама ушла рано; папа, настоятель храма Святой Троицы в селе Троицкое, — год назад. Это до сих пор больно, но это было и облегчение: он тяжело болел последние два года жизни. (Я пишу, что думаю — и говорю тоже обычно то, что думаю: я как будто не замечена в грубости, но я «пугающе прямая», как сказала мне Оля.) Будущее моё примерно понятно: жена семинариста, потом матушка. Если честно, я мало об этом будущем беспокоюсь (а надо бы!). Если заполнять анкету или писать о себе «художественную прозу», то убей Бог, не знаю, что бы ещё я о себе могла сказать. Я совершенно заурядная, я «серая мышь», как обмолвилась обо мне та же самая Ксюша Пастухова (за глаза, а я подслушала). Ксюше, конечно, было приятно облагодетельствовать серую мышку. Слово «облагодетельствовать» я написала со словарём: мои успехи в учёбе очень средние, и это не «паче гордости», это правда. При этом сама про себя я верю, что я умна, умнее многих (только вот показать этого не могу). И это тоже не гордыня, это именно вера, как вера в то, что есть и жив Господь наш Иисус Христос от века до века. Просто мой ум — не про школьную премудрость, не про интегралы, не про логарифмы. Вот, даже не знаю, про что он и есть ли вообще, ведь верить ещё не значит знать...

Писать о себе очень трудно, примерно как идти через густые заросли колючих кустов. Сгораешь со стыда. Но продолжу.

Все эти случайные, пустые вещи, написанные выше, ничего обо мне не говорят, они от меня, настоящей меня, исчерпывают одну десятую, нет, одну сотую, тысячную. Подозреваю, что так с любым человеком. Нет, не с любым: многие люди слишком уж нравятся себе, поэтому живут почти полностью *внешним* собой. Даже в нашем классе есть такие — и среди учителей тоже есть.

Я внешней собой жить не могу, не оттого, что грех, — куда мне рассуждать о грехе! — а оттого, что скучно, бесконечно скучно, сводит челюсти от скуки.

Всю жизнь, едва не с самого детства, я чувствовала — сейчас начнутся большие слова, буду писать их наобум, не заботясь, — чувствовала присутствие жизни как великой тайны. Как это невнятно, как хочется зачеркнуть! Оставляю: других слов у меня нет. Кто я, чтобы говорить о великой тайне? Но всем позволено о ней говорить, и не чувствовать её значит перестать быть... хотела написать быть «человеком», но это неточно. Перестать чувствовать великую

таинственность жизни означает перестать быть в лоне Бога. Никогда я, ни одной минуты, не сомневалась в том, что Бог есть. И одновременно как-то я рано поняла, что Он вовсе не обязан быть таким, каким мы Его себе воображаем. Могу даже точно сказать, когда именно мне пришло это понимание: в восемь лет.

Смешно, правда? Лучше бы в мальчика влюбилась...

Уже несколько страниц исписаны, и, если я так и дальше продолжу терзать бумагу своими бесполезными мыслями, мне этого дневника и на полгода не хватит. Буду на сегодня заканчивать и вернусь, когда будет новое. Надо жить жизнью, а не бесконечно копать в себе, и жизнь сама приведёт куда нужно. Главное — не бояться идти, не бояться ни одной секунды.

А хорошо, что есть замочек! Было бы ужасно стыдно, если бы кто прочитал...

* * * * *

5 февраля 2009 года, четверг

За почти неделю ничего не случилось. У нас вообще мало что случается. Должно небо упасть на землю, чтобы в нашей Православной гимназии что-то приключилось.

Одноклассники сплетничают друг о дружке: кого-то, мол, с кем-то видели под ручку, то ли с курсантом военного училища, то ли со взрослым мужчиной... Противно, и считаю ниже своего достоинства записывать, даже запоминать. Да ещё ходит по рукам петиция: разрешить девочкам по пятницам приходить в *личной* одежде. Я подписала тоже, но мне всё равно. Наши серые форменные платица с белой косынкой меня полностью устраивают. Своей красивой одежды у меня всё равно нет, и никогда не было, сколько себя помню. Расту с отцом до шестнадцати лет — это расти такой... наполовину пареньком, что ли. (И слава Богу!)

Я дурнушка, кроме того: сколько ни хорошишься, толку не будет. То есть не то чтобы совсем дурнушка — на вкус и цвет товарища нет, — а так. Вот если бы миру сияла *внутренняя* красота! А кто же мне сказал, что во мне непременно воссияет такая красота, что есть во мне чему воссиять...

Уроки катятся своим чередом, а я продолжаю читать подаренные мне книги, иногда прямо на уроках. Иногда даже и на литературе. Но это ведь интереснее, чем «Мастер и Маргарита»! Не знаю, насколько Булгаков хороший писатель, может, даже и гениальный, но Господь Иисус Христос в его романе — просто недоразумение. «Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...» Тьфу! Нашли, тоже мне, что преподавать в Православной женской гимназии.

Он ведь ещё небось думал (Булгаков, то есть), что он нам, православным людям, благое дело делает! Вот уж спасибо, радость какая, светлый престольный праздничек: надели Христу юродский колпак на голову! Что ж я, однако, разворчалась, как древняя старуха, самой противно.

Нет, обе мои книги, с которыми мне так повезло, проще, честнее и важнее. О, какие это книги! Я бы с ними спала под подушкой, да и сплю частенько. Никому, никому не дам решать за себя, что мне важно. Бунт? Да ну разве ж это бунт, бунт — это ходить с черепом и костями на шее, как Наташа Яковлева. Какой-то монастырский череп, наподобие схимнического, но всё равно смешно. А у меня — такое *благовоспитанное* чтение, безопасное: Ольга из тех сообщений и дала мне, наверное, в руки. Она ведь меня старше на целый месяц, и оттого считает себя «сторожем сестре своей». Дала, а сама небось не читала дальше первой страницы.

Великая книга, книга про безупречно честных людей. И сколько юмора в ней! Я во всех них уже заочно влюблена: и в авву Сысою, и в авву Макария, и в амму Синклитику, и в двух безымянных братьев, которые хотели поссориться о кирпиче, да так и не поссорились. И «Маленький принц» ничуть не хуже: он звонкий, ясный, настоящий. Нет в нём никаких сладких весенних баккурот, и в «Изречениях» нет. Сказать об этом Виктории Денисовне? Нет, не скажу: зачем? Она умница, она прекрасный учитель. А то, что она живёт *внешней* собой, — так ведь она не амма Синклитика.

Замечательные книги. Читаю я их одновременно, и немножко они у меня сплавляются в голове: будто Маленький принц — отшельник, и будто отшельники — принцы. Да ведь и похожи они! Удивляюсь, как раньше этого никто не замечал.

Но меня тревожат обе. В них заложен взрывной материал, целые килограммы, и ни Ольга, ни Соня об этом, конечно, не догадываются.

Вот что меня мучает: если первые христиане были такими, как же мы так за это время испортились? Почему испортились? Я бы не смогла молиться всю ночь, с заката до восхода, словно авва Арсений. Или смогла бы? Хочется попробовать, да как же тут попробуешь! Я до своих восемнадцати — человек подневольный. Да и после, наверное, буду раба Божия и мужнина.

А ещё... но об этом писать так стыдно, даже под замком, даже с уверенностью, что никто при моей жизни не прочтёт никогда, во веки веков, аминь, что сегодня, пожалуй, об этом писать не буду. Нет: это серьёзное, пусть оно созреет, а когда созреет, надо будет в этом исповедаться. Вот в субботу, после исповеди, всё и расскажу подробно, дорогой дневник. Был бы ты человеком, я бы с тобой подружилась. Много же тебе ещё придётся краснеть по мою душу.

* * * * *

6 февраля 2009 года, пятница

Всё-таки произошло!

Не то, чего я стыдилась, а то, что я высказала свои мысли Виктории Денисовне, нашей литераторше. Пятница у нас интересный денёк: две литературы, а сразу после два английских. Дай Бог каждому денёк, ничего себе то есть. Но обо всём по порядку.

Итак, Виктория Денисовна проводила устный опрос. (Она — очень молодая женщина, пришла к нам сразу после вуза, незамужняя.) Ей хотелось знать, что, мол, мы вынесли из великого романа. Ну и заодно хочется ей, чтобы мы тренировали речь. Будто то же самое, что и на английском, — но не то же самое. Не умею объяснить, в чём разница. Может быть, и нет разницы.

Нет, есть: Александр Михайлович слушает, что ты скажешь, слушает внимательно, словно доктор. Виктория Денисовна слушает тоже, но терпения на внимательность у неё не хватает, а главное, заранее есть у неё готовый образ того, что она ждёт услышать. Линеечка из своих представлений, которую она приставляет к тебе и смотрит, сколько в тебе ценного продукта. У большинства учителей есть такая линеечка, чего уж притворяться. Она же именно притворяется, хотя и сама не знает, бедняжка, что притворяется. Она искренне верит, что она полностью демократична и непредвзята.

Меня спросили, и я ляпнула первое, что пришло в голову. Ну, не первое: я об этом почти неделю думала.

— Виктория Денисовна, впечатление моё вышло скомканное, и я, простите, вовсе не считаю «Мастера и Маргариту» великой книгой. Не моего ума дело, что это за книга: может быть, и великая, и огромная, и на века, как вы говорили. Но что вообще «на века»? Евангелие — оно на века, а вот про остальное я ни про что не уверена. Мне, во-первых, несимпатична чертовщина, которая самому Булгакову словно бы даже и нравится. Меня, во-вторых, пугает, что мы как-то пошли по нисходящей: в прошлом году изучали Достоевского, в этом Булгакова, чем закончим? Мне и Достоевский-то не очень симпатичен...

На этом месте за моей спиной кто-то засмеялся. Я сижу на первой парте, якобы из-за плохого зрения, но зрение у меня абсолютно нормальное, просто никто больше не захотел сидеть перед учительским столом. Я продолжала:

— ...Не очень-то симпатичен, и всё же, знаете, Раскольников у него говорит твёрдо, что верует во Христа и в воскресенье Лазаря, верует *буквально*. Это — серьёзно, это — литература. А чёрный кот, который раскачивается на люстре и палит в милицию из нагана, это, извините, какие-то комиксы для детей. Нет, сами посудите!

(На этом месте смех усилился, а я покраснела. Но всё-таки продолжила.)

— А самое убийственное в этом его романе — не Иешуа, конечно, который на настоящего Христа похож, как я — на Марию Египетскую, а эпиграф. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Ну, что это за дребедень?! Это Дьявол-то вечно совершает благо?! Покажите мне, покажите, много ли он совершил блага?! Как можно с умным видом нести такую ахинею?! То, что Сатана может и самим Господом Христом прикинуться, — это ведь не повод говорить, что он вечно совершает благо! Хоть бы Булгаков ваш наставления отцов-пустынников почитал, что ли... Семилетние дети о Дьяволе знают больше, чем он! Ну ладно, не семилетние, но в восемь лет я бы уже не совершила такой ошибки. А что это вы все, что я такого смешного...

Тут уже нельзя было остановить никого — все, что называется, лежали на партах влёжку. Виктория Денисовна округлила глаза, но улыбалась тоже. Улыбалась и бормотала:

— Потрясающе! Я не знала, что религиозный обскурантизм в стиле Победоносцева до сих пор настолько жив, энергичен, витален и безапелляционен. Бедная девочка... Садись, миленькая, садись. И никогда не бойся высказывать своё мнение, даже такое прямолинейное.

Я села, красная как варёный рак. На перемене только и было разговору о том, что «хоть бы ваш Булгаков отцов-пустынников почитал». Оля мной как будто даже немного гордится, как гордятся комнатной собачкой, которая учудила невесть что — забралась по шторе до самого карниза. Но говорит, что во всём надо знать меру.

В чём я должна была знать меру?! Что я сказала не так?!

С какой стати и давно ли мы, христиане, посчитали светского писателя Булгакова главней Евангелия?! И, если мы его посчитали таким, может быть, мы все хором ошиблись, а не я одна?!

А может быть, ларчик просто открывается: может, мы все — и не христиане вовсе, и от православия в нашей гимназии — одно название?!

Очень горделиво это писать, очень грубо, очень безжалостно. Да и кто мне давал право судить? В этом всём завтра тоже нужно будет покаяться. Но больше, чем покаяться, я от батюшки хочу услышать ответы на мои вопросы!

Заодно и то, другое, более серьёзное, созреет.

* * * * *

7 февраля 2009 года, суббота

Только что вернулась с исповеди. Ох, она мне далась нелегко, а батюшке не легче!

В субботу у нас — уроки облегчённого типа: две истории Церкви и два Закона Божия. Оценок по ним почти не ставят, так как оба считаются факультативами. Ведёт оба предмета отец Вадим.

Исповедоваться ему можно в воскресенье, сразу перед Литургией утром, — но я этого не люблю: много желающих, очередь. Или можно это сделать в ту же субботу. После конца четвёртого урока я подняла руку и напросилась на исповедь. Снова были смешки, а ещё и шепотки о том, что наша блаженненькая снова выделяется. Никакого мне до этого дела нет — ни малейшего.

Мы поднялись в домовый храм. В здании нашей гимназии есть такой: было бы даже странно, если бы не было. Беда в том, что он тесноват. Окошечки маленькие, электрического света не зажигают. Здесь, в полутьме храма, я отцу Вадиму рассказала всё, что хотела рассказать.

Начала я, само собой, со вчерашних горделивых и грубых мыслей. А продолжила с более серьёзным. Пора признаться уже и дневнику, а не только батюшке.

Случилось вот что: на этой неделе меня посетило плотское томление. И произошло всё, кто бы подумал, из-за чтения «Изречений».

В «Изречениях» много мест о том, как монахи боролись со своей похотью. Я стала об этой борьбе думать, и нечаянно, через эти мысли, во мне и проснулось то, с чем нужно бороться.

До того я об этой части жизни как-то и не особо думала... Нелепо, да? Нелепо и стыдно: чувствуешь себя злым ребёнком, которому дали дорогую, ценную игрушку, а он этой игрушкой разбил себе голову.

Плотское томление — сильная и страшная вещь. Неужели всю жизнь с ним воевать, до самой смерти? Как не хочется... «Меня, уже старика, до сих пор одолевают блудные видения», — рассказывает в «Изречениях» один авва. Вот, те люди одной ногой стояли в Царстве Божьем — а не стеснялись признаваться во всём этом! А мы притворяемся каждый день, будто святошью убелились — что, открыли нам двери в Царство? Смех один...

Думаю, мужчинам тяжелей, чем нам. Что ж, и то утешение.

Не помню, сказала ли об *этом* отцу Вадиму тоже. С меня бы случилось, с моим языком без костей. Но свои вопросы я ему задала, и не только про Булгакова. Вот мой самый главный на сегодняшний день вопрос.

Сказано, что женщина спасается чадородием. Дети без плотской любви не родятся. А с желанием-то именно и боролись египетские отцы, самые честные, самые твёрдые люди, каких знало христианство. Как же мне, юной девушке и христианке, относиться к плотскому желанию?

Тут мне, конечно, всякий скажет, что с венчанным мужем всё хорошо и непостыдно, «Исайя, ликуй», а только с другим — разврат. Такой ответ правильный; Оля бы мне дала такой ответ, если бы у меня хватило ума её спросить.

Не верю я этому ответу. Высокомерно, глупо, но не верю. Если бы так всё было просто, не бежали бы древние отцы в пустыню от жён, да и матери-пустынницы — от мужей!

Всё вот это я и вывалила на бедного отца Вадима. Ещё ведь: попросила его самоуправно, чтобы мы не стояли посредине храма, а присели на скамеечку. Скамеечка там есть, одна, перед службами её обычно выносят. Храм тесный, десять-двенадцать человек на Литургии помещается, и только.

Бедный батюшка! Долго он молчал и смотрел мимо меня куда-то в сторону. Я уж успела испугаться, что он, не дай Бог, вообразит, будто это про *него* посещают меня блудные мысли. Отец Вадим, кстати, красивый мужчина, и взгляд у него кроткий, нежный, почти как у женщины, и голос красивый, мягкий.

Но нет, так он не подумал. А если и подумал, не подал виду. Целую минуту спустя ответил мне:

— В вас, Дарьюшка, возможно, есть дар монашества.

— Нет во мне ничего такого...

(Пишу как диалог, что припоминаю.)

— Всё же, кто знает, есть, и не торопитесь отрицать его, не торопитесь решать про себя раньше времени.

Тут я вступила:

— Вы же сами знаете, батюшка, как нас толкают к тому, чтобы мы именно что решали, да поскорей. Если девочка — поповна, да и сирота, как я, у неё, кроме как быть матушкой, и будущего другого нет. Я... нагло, наверное, об этом рассуждаю?

— Нет-нет, вы говорите правду.

— ...Но об устройстве в жизни я не думаю. Ещё успею после окончания школы подумать. Меня беспокоит совсем другое: как правильнее? Как лучше?

— То есть выходить замуж или принять ангельский образ? Лишь Господь знает, как вам будет лучше. Лишь Господь да вы сами, в неисследованной глубине вашего сердца.

— Так я и знала, что вы так ответите!

— ...И вас не удовлетворяет мой ответ. Не спорьте: вижу ведь, что не удовлетворяет. Вот, вы и покраснели вся! О *том* признавались — не краснели, а сейчас краснеете. Ах, Дорофеюшка, вы — хорошая, наша, православная девушка...

(Помнит, что я Дорофея по паспорту. Приятно!)

— Я даже в этом сомневаюсь!

— Если сомневаетесь, то уж точно христианка... Хорошая, православная девушка с высокой требовательностью к себе, чуткой совестью, ясным умом, установленным на главное. С большой смелостью: томятся в вашем возрасте все, вы одна из вашего класса мне признались. А я для этой хорошей девушки — недостаточный духовник. Я, знаете ли, *маленький* священник.

— Как это — маленький?

— Так это: скромный, слабосильный. Вот прямо как тот сельский кюре, о котором пишет...

(Отец Вадим называет мне какое-то французское имя, которое я, конечно, не упомяну.)

— Не читали вы его романа? Ну, ещё прочитаете — какие ваши годы... Как вот этот храм крохотный — видите, только Царские врата, без дьяконских, а думали вообще катапетасмой обойтись, — так и я сам в своём разумении крохотный. Вы же мне задаёте вопросы, которые если и не в самом сердце Православия, то проходят где-то очень близко к этому сердцу. Как мне вам ответить? Я надеюсь, вам однажды повезёт с более проникательным духовником. А до тех пор ищите, всматривайтесь внутрь себя, молитесь.

— Вы, может, маленький, но настоящий. Спасибо! Это дерзко? Простите!

— Нет, не дерзко, — тут батюшка улыбается. — Давайте уже прочитаю над вами разрешительную...

Так и закончилась исповедь. Облегчение, конечно, я испытала, и про «ум, установленный на главное», тоже было приятно слышать от другого человека. А ответов на мучающие меня вопросы — не нашла.

Или зря я так уж мучаюсь, или нечем здесь мучаться? Не в третьем веке мы все живём, в двадцать первом. Стану и я как все, нарожаю детишек, перестану притворяться, будто хоть чем-то похожа на амму Синклитику. Буду листать этот дневник и улыбаться, прямо как отец Вадим на мою наивность.

Или всё же — монашество? Большой крест, и — пугает. Не тяжестью пугает, тяжести я не боюсь, а — уж больно холоден.

Пустынничество, моя первая любовь! Нет, похоже, в сем веке пустынничества.

Ещё, о забавном: Лена Очагова, кажется, на меня обиделась, сказала мне за ужином пару ласковых. Она, подозреваю, влюблена в отца Вадима и думает, что я ему всё время исповеди показывала себя с интересной стороны, злоупотребляла таинством. Знала бы она...

Надо бы написать в этом дневнике про одноклассниц. Но сегодня уже нет сил. Напишу завтра.

* * * * *

8 февраля 2009 года, воскресенье

Сегодня, в воскресенье, мы должны были ехать в У., но поездку перенесли на новую неделю. Заняться совершенно нечем. Сажу и пишу дневник.

Как обещала, про наш класс. Одиннадцатый класс в гимназии небольшой: тринадцать человек. Все девочки. Не очень-то это умно: при мальчиках мы, может, больше следили бы за собой — имею в виду, что в нас было бы больше женственного и меньше чисто бабьего. Серьёз так думаю, а вовсе я не по мальчикам сохну: мне, с моей внешностью, всё равно «нечего ловить», как об этом заявила Ксюша. Ксюша слишком уж многое воображает о себе: Аля Флоренская гораздо красивей, а ведь не выделяется!

Класс у нас как-то сам собой поделился на два лагеря: воцерковлённые девочки и те, что от веры в стороне. Хотя *все* должны быть в нашем лагере, из нас ведь едва не половина — поповны, иерейские дочери, а уж «из хороших православных семей» — это все без исключения. А вот поди ж ты...

Написала «нашем» и задумалась: а я точно в этом лагере? С одной стороны: где же мне ещё быть? С другой: достаточно ли я христианка? Сложно это всё, не для рассуждения подростка, а кто я ещё, как не подросток.

Подробно про всех писать не буду, а только про тех, кто мне или хоть чуть-чуть близки, или интересны.

Оля Смирнова, двоюродная сестра. Дочь Любови Сергеевны, моей тётки и, до совершеннолетия, опекуны. «Старшая», так сказать, сестра. (На месяц — смешно!) Я этого старшинства не признаю, но ей нет дела до того, признаю я его или нет. С Олей я общаюсь даже вынужденно, как с близким человеком. Хотя какой она мне, по сути, близкий человек? Рассуждать так очень дурно, но я ведь всё это запрю на замок.

Оля — очень уверенная в себе, очень стойкая, очень прямая (это у нас в роду, что уж там), очень православная. Всем нашим «церковным крылом» внутри класса она верховодит. Хотела бы верховодить и всем классом, но должность старосты отдали, в обход её, Але Флоренской. Аля на этой должности делает ровно столько, сколько нужно, и никого не раздражает — кроме Оли, естественно. Очень православная Оля, сказала я. Очень ли христианка? Написав, сгораю со стыда: кто я, чтобы судить? Но я ведь сужу себя, не её. Судя себя, хочешь не хочешь, а сравниваешь себя с кем-то. Точно знаю, что не хочу и не могу быть такой же уверенной про вопросы веры, как она. Как про них вообще можно быть уверенной?! Церковь не армия, а Бог не верховный главнокомандующий. Обо всём этом я с Олей уже однажды говорила, но не нашла общего языка. Моя робость перед тайною жизни для неё не страх Божий, а «блажь». Вот, появилось недавно у девочек это модное словцо, употребляют его к месту и не к месту...

Соня Агапкина — моя единственная близкая подруга. Думаю, она евреечка: нос такой характерный, и волосы слегка вьющиеся. Соня высокая, худая, ей бы не мешало поправиться. Соня большая фантазёрка: не то чтобы она прямо врёт не краснея, этого нет, но обожает она воображать себя в разных невероятных ситуациях, или придумывает что-то на пустом месте, или сочиняет про других людей. (Из последнего было: «А вдруг мистер Азуров — британский шпион?» Вздор, конечно.) Соня восхищается тем, что я такая чистая и неиспорченная, такая «не от мира сего», и говорит, что, будь я мальчиком, она бы в меня влюбилась. Надо ей запретить эти глупости, только, чем больше я ей запрещаю, тем больше она хвалит меня и мою скромность. Иногда, правда, на неё находит шальный стих, и тогда держите её семеро. Ну ничего, я тогда тоже не лезу за словом в карман! Я не воздушная фея, как кто-то обо мне думает. Настолько не воздушная, что Ксюша считает, могла бы я и скинуть пару кило. Пусть сама и скидывает, если ей очень приспичило.

О Ксюше писать не буду — и так она уже мне испортила настроение. Легкомысленная девица, как и Лиза Чулкова. Разница только та между ними, что Лиза любит показывать себя и другим девочкам, и учителям с православной стороны, а Ксения даже не пытается.

Лена очень обидчивая, и в ней много чисто женского, будто ей не семнадцать, а все тридцать. Учится она так себе, даже хуже меня, а я-то ведь известная «отличница».

Евдокия — углублённая в себя, молчаливая, строгая: Дусей себя называть не разрешает. Однажды по глупости обратилась к ней как к Дусе — ох, боялась, прожжёт взглядом! У Евдокии есть неизвестная нам цель в жизни, но с Православием эта цель, похоже, никак не связана.

Рита — миленькая, но кроме того, что она миленькая, ничего о ней на ум мне и не приходит.

Катя — суший ребёнок: ей только недавно исполнилось шестнадцать. Казалось бы, мелочь, но в нашем возрасте даже год важен. Я ей симпатизирую и порой говорю приятные словечки, а она меня пугается. Правда, она всех пугается.

Мария Сабанеева — это «мадам-танк», у неё не стой на пути. Рост высокий, голос низкий, грубый, челюсть тяжёлая. Оля и Маша терпеть друг друга не могут, если столкнутся — летят искры. Только мою сестру Мария и побаивается. Соня сплетничает, что Маша, мол, уже

начала жить плотской жизнью. Какое мне дело! Но когда же она успела? И грех так говорить, но кто же позарился? Хотя на вкус и цвет... Наверное, иным мужчинам как раз и нравятся такие.

С Варей Седовой мы приятельствуем. Она такая же, как я, по-сельски прямая. Варя добрая, но грубовата. Папа у неё умер... Зато мама жива. Мы дружили бы и по-настоящему, но что-то мешает. Может, что у нас обеих есть своё горе, больно вспоминать, а может, просто мы не очень близки. С нею я своими задушевными мыслями не делюсь, а то тоже посчитает, как Оля, блажью, и будет в чём-то права.

Да ведь и с Соней не делюсь. Не потому, что стыжусь, а просто: самого-то важного никому не поведаешь. Вот только дневнику. Ладно уж, скажем Ксюше спасибо за её подарок.

Наташа Яковлева и Аля Флоренская всегда ходят парочкой, оттого обе — словно на отшибе от всего класса. Наташа похожа на Марию, но про неё не сомневаешься, что такие точно нравятся мужчинам. Православия... нет, зачеркну, христианства в ней нет ни на грамм, а есть как будто обида на целый свет и желание поквитаться. Наташа умна, но я бы подошла к ней, спросила бы ласково, как спрашивают ребёнка: «Что ты здесь, в православной школе, забыла, деточка? Пойдём, я тебя отведу в другую!» Никогда я так, конечно, не сделаю: кто я ей? Да и куда ей идти? Возможно, Наташа совершила какой-то тайный грех, но словно вынужденно, хоть её и никто не заставлял. Глядя на её лицо с высокими скулами, я вдруг однажды поняла, что почти любой грех происходит из *боли*. Зря я, наверное, об этом рассуждаю, не по моему уму такие вещи, и ни по чьему они уму, кроме святых старцев.

Аля, наверное, самая интересная девочка в нашем классе. Во-первых, самая красивая: фигурка точёная, волосы эти тёмно-русые с лёгкой рыжинкой — всё в ней гармонично. Во-вторых, она отличница, умница, скромница. Она начитанна, интеллигентна — единственная, кроме Евдокии. Аля со всеми приветлива, и ни с кем, кроме Наташи, не дружит. В ней есть какое-то тайное страдание, и мне хочется однажды взять её за руку, сесть с ней рядышком и начать внимательно её слушать, как слушают сестру, не двоюродную — родную. Очень хочется, но я боюсь так сделать: она меня к этому не приглашала. И ещё рядом с ней чувствую я её — звёздочкой, а себя — зелёной лягушкой.

Вот интересно, а *меня* девочки видят какой? Зеркало мне не показывает ничего, кроме самой заурядной русской девчонки, встретишь — пройдёшь мимо. И никому во всём свете неизвестно, что эта девчонка... Что? Что я хотела написать, чем похвастаться? Нечем мне хвастаться. Некому открыться.

* * * * *

13 февраля 2009 года, пятница

Хожу весь день от радости сама не своя. Хотя ничего не случилось! И повода для радости нет, и никто моей радости не видит.

А случилось вот что: пятничный английский. Английский как предмет я люблю не очень, скорей, побаиваюсь. Во-первых, никогда я познаниями чужого языка не блистала, свой бы выучить. Во-вторых, на этих уроках с новым учителем приходится много думать. Хотя ведь зачем ещё и нужна школа, как не для того, чтобы думать? Чужой язык — чужой способ мысли, и этот способ мысли новый педагог с усилием вдвигает в нашу голову. Он вдвигает — мы сопротивляемся.

Домашним заданием было разобрать стихотворение, которое мы слушали на прошлой неделе, и ответить на вопросы к нему. Разбираем мы тему «Образование», стихотворение — «Среди школьников» Вильяма Батлера Йейтса.

«Среди школьников», да уж, только текст совсем не школьный. Пока продиралась через него, вспомнила Алексан-Михалыча пару раз «ласковыми» словами. После самой с себя смешно стало: ворчу будто древняя бабка, а ещё мне и восемнадцати нет.

Алексан-Михалыч работу устраивает так: катит по столу красный резиновый мячик, и перед кем мячик остановится, тот и отвечает. Парты в его кабинете составлены в один большой стол.

Итак, уже на четвёртом вопросе мячик остановился напротив меня. Сейчас, как вспоминаю, сердце немного убыстряется, и потому буду писать в настоящем времени.

Мячик останавливается напротив меня. Я отвечаю свою домашнюю заготовку. Сан-Михалыч слушает, но, кажется, не особенно заинтересован. И я не особенно заинтересована. Сложное, даже заумное стихотворение, но куда ему против книжек, которые я сейчас читаю!

Осмелев, я вдруг говорю — не уверена, грамотно ли:

— This poem has a problem. And the poet has a big problem, too.

— Which is . . . ?

Педагог улыбается углом рта. Он весь такой умный, стильный, не вполне русский, словно... словно Аля Флоренская.

— Which is that he is a pagan, — ляпаю я то, что давно хотела сказать.

Слово «язычник» я запомнила с какого-то урока, а не запомнила, посмотрела бы его в словаре.

Сан-Михалыч молчит, приоткрыв рот, и перебирает пальцами по столу. Я раскаиваюсь и предчувствую, что скоро снова, как давеча на уроке литературы, все начнут смеяться над моей христианской замшелостью.

— True, — наконец говорит он. — true enough. You have your reasons to call him that. Is there anything else you can say about W. B. Yeats, looking down at him from the shining hill of your irreproachable Orthodoxy?

Смеётся он надо мной, похоже. Вот и Аля Флоренская прячет улыбку. Хорошо хоть только она.

— He is a pessimist, — отвечаю я. — He is not a Christian, because he is a pessimist.

— You probably wanted to say 'and therefore' rather than 'because,' — поправляет меня педагог. — «Поэтому», а не «потому что».

Похоже, он и слушал меня всё это время, не только смеялся.

— Да, «поэтому», а не «потому что». Сан-Михалыч, я так много хочу сказать, а слов не хватает! Разрешите, я перейду на русский?

— Вот, вот: как говорить без слов? И это касается не только английского. Конечно, Долли, можно по-русски, если вам тройки достаточно.

— Никогда на большее не претендовала! Йейтс — не христианин всем сердцем, он учёный, ему греческий миф про Леду милее Господа Иисуса Христа. Именно поэтому он и пессимист! Блуждает в трёх соснах, не может принять своей старости, вспоминает про любимую девушку, которая стала бабушкой... Эка невидаль! Все состаримся, все умрём. Йейтсу не хватает мужества, а ещё доверия Богу — вот чего. Это мне напоминает историю трёх отшельников, которые пришли однажды к авве Сысою...

В классе раздаются смешки. «Мистер Азуров» не смеётся, даже не улыбается. Обведя класс взглядом, он негромко спрашивает:

— What are you laughing at, actually?

— Они смеются надо мной, Сан-Михалыч, — поясняю я. — Они считают меня наподобие юродивой, которая куда угодно приплетёт какого-нибудь авву. А вы — вы тоже так считаете?

— Quite the contrary: the story about the three hermits sounds intriguing. Go on, please!

— Но по-русски же, да? Так я продолжаю про авву Сысою! Три монаха пришли к нему, и первый сказал: «Отче, как мне после смерти избежать Огненной реки?» Второй: «Как мне избежать скрежета зубового и червя поядающего?» Третий: «Отче, память о тьме внешней меня казнит!» Авва же послушал их всех и отвечал: «Я в голове, братцы, все эти ужасы не

держу. Господь милосерд; верю, что и ко мне тоже будет Он милостив». Простите, что рассказываю своими словами...

В классе становится тихо. Педагог тоже молчит.

— Блаженная Феодора Троицкая, — бормочет себе под нос Ксюша. «Троицкая» — потому что мой папа служил иереем в Троицком, и это все знают. Сан-Михалыч отмахивается от неё:

— Xenia, what you're saying is downright insulting . . . А вам, Долли, я отвечу по-русски: это самое умное, что я когда-либо слышал про Йейтса. Ваша история невероятно к месту: и там, и здесь — мифология, то есть сочинительство, литература. И верно, её возможности ограничены. А выход за пределы литературы — не внутри неё самой, а в том, чтобы сказать: верю, что Господь милосерд. Я это запомню, спасибо. Как жаль, что вы всё то же самое не умеете сказать по-английски!

— Я ведь не собираюсь эмигрировать!

— Никто не знает, как повернётся жизнь... Кстати, про авву Сысою: вы ведь знаете, что его звали немного иначе?

— Нет, да и с чего бы? — я подозреваю какую-то насмешку, вот и отвечаю грубовато. Он не обижается:

— С того бы, что Sisoes — просто латинская транскрипция его коптского имени. Оно в коптском звучит как «Джиджой». Верней, так — только в одном диалекте коптского, а в другом...

Сан-Михалыч — нет, это имя ему теперь не подходит — *мистер Азуров* пишет на доске хіхωи, а после произносит какое-то слово, которое я не смогла бы за ним повторить, вроде «Дидёи», но с другими согласными, ни на что не похожими. В этом слове — древность, жар пустыни, сжатый в руке посох, молитва от заката до восхода. Я гляжу на него во все глаза:

— Откуда вы всё это знаете?!

— Я бывал в тех местах, — просто отвечает он. — В Коптском квартале Каира, да и не только. Да... Но мы с вами заговорились, Долли, виноват. Верните, мне, пожалуйста, мячик. Or simply pass it on to the next speaker. Xenia, with her miso-Christian attitude, now fully deserves it, I guess . . .

На этом всё и закончилось, и заняло-то минуты три — куда больше, чем я об этом писала, так тщательно подбирая слова, словно я какой писатель.

Что произошло? Чему я так рада? Отчего я сияю и с трудом прячу улыбку? (Мне можно и улыбаться невпопад, я ведь «блаженная».) Влюбилась я, что ли? Господи упаси! И нет, непохоже, не чувствую. Не влюбилась, а — чувство неожиданного товарищества. Даже это неверно, не товарищества. Случилось *узнавание*. Маугли поглядел на Багиру, Багира увидела Маугли, и оба поняли, что они — одной крови. Правда, если уж эту сказку брать, именно он — Багира, а я — Маугли...

Мы с ним, похоже, одной крови: пустынной.

Как жаль, что я не родилась пораньше, не знала его в его двадцать! Или нет, не жаль: у мальчишек в двадцать лет совсем иные вещи на уме. Эти иные вещи к Пустыне не имеют никакого отношения, и мне даже стыдно думать про эти иные вещи.

Вот интересно: могла бы я *ему* задать свои вопросы, и про Булгакова, и про... другое? А если бы задала, что бы он мне ответил?

Нет, нет, невозможно, просто неприлично: учитель английского — не исповедник. Что за нелепости мне лезут в голову!

* * * * *

15 февраля 2009 года, воскресенье

Класс наконец едет в У. Я бы лучше отдохнула, побездельничала... Но пусть.

Поездку оплачивают родители учащихся, и я надеялась, что тётё Любе не придёт в голову тратиться. Ей и правда в голову не пришло, но за меня как за сироту заплатили из какого-то специального фонда. Роза Марковна пояснила, что в школе есть такой, и велела держать язык за зубами, а то будет слишком много охотников воспользоваться.

Дорога длинная, меня слегка укачивает — не до тошноты, а приятно. Я дремлю и сквозь сон думаю о наших учителях. Какие они всё же разные! И мы разные, и они.

Как по-разному люди оказываются на месте учителя, какой разной вере следуют, как по-разному обращаются с учениками...

Помню, осенью на английском был урок, посвящённый докладам. Каждому нужно было подготовить сообщение. Подготовила и я, села на место докладчицы. И поняла, что ничего не могу сказать: боюсь говорить вслух на чужом языке, не умею. Слёзы так и посыпались у меня градом.

Сан-Михалыч со мной как-то удивительно гуманно обошёлся. Попросил вернуться на место и рассказал историю о том, как однажды, в далёком детстве, позвонил в дверь девочке, в которую был влюблён, а открыл её отец, — и он, мальчишка, не мог ни вымолвить словечка, ни двинуться с места. Ничего мне не поставил, хотя обычно отсутствие домашней работы на английском — это двойка, у него за этим не ржавеет.

Жестокая дрессировка — любая школа. Но нам ведь нужна эта дрессировка? Мы без неё станем круглыми, толстенькими, тупенькими, как тигр в зоопарке.

И всё же дрессировка — не самое благородное занятие. Надо или не любить детей, или уж очень любить их, чтобы работать учителем: *любить их им вопреки*. Звери-то недовольны, они порываются... Я разве сама не рычала, когда читала «Среди школьников»?

Но что я всё о нём? Он мне никто. (Или всё-таки — неузнанный товарищ? А я не вообразила всё себе?) Он идёт своей дорогой, я своей. Только началась моя дорожка. Куда она приведёт? Кем я хочу быть?

Школьной учительницей? Уж едва ли тогда английского: лучше начальных классов. Как раз по мне...

Нет, нет, не хочу быть учительницей. Только если Закона Божия, как отец Вадим, но к этому делу меня не подпустят. Потому не хочу, что идеал учителя, как его понимает мир, — это не Александр Михайлович Азуров. Это — Виктория Денисовна Королёва: женщина, которая вкладывает всю душу в свой предмет, которая на работе легко может сгореть, которая в своей литературе видит не иначе как откровение Божье. Ну да, и знаем мы, чем это кончается. Кончается «вчера мы ели сладкие весенние баккуроты». Кончается «Садись, деточка, садись! И никогда не бойся высказывать своё мнение, даже такое прямолинейное». Сама ты «деточка»! Я тебя на семь лет всего младше...

Сан-Михалыч не такой: он не считает, будто на английском языке свет клином сошёлся. Для него язык — как ключ к двери. Ключ отпирает дверь, а что за дверью? А за дверью — мир, огромный, полный. И где-то в этом мире есть Коптский квартал Каира, а ещё дальше него есть Пустыня... И именно поэтому, *and therefore*, мистер Азуров — белая ворона в нашей школе, в школе вообще. Оба мы — чуть-чуть юродивые, только он-то своё юродство научился прятать, а я пока нет.

Что меня ещё ждёт, что я умею, чего бы хотела? Выйти замуж за иностранца? Фу! Даже думать противно. Да и не нужна я никакому иностранцу, с моим жалким английским и моим носом картошкой.

Стать матушкой? Это уж само собой, это никуда от меня не убежит. А дальше что? «Чадордием спасается»? Тоже работа, не хуже всякой другой. Даже и многих лучше. А... Пустыня как же?

Вообще, я чувствую в себе огромный, неизрасходованный запас любви. Только не любви к мужчине — это слишком узко. К мальчикам я почти равнодушна, к тем мальчикам, кото-

рых изредка вижу или про которых слышу. Ужасно эти мальчики глупы, пока молоды, а когда взрослеют, умнеют, то уж, наверное, одинокими не останутся, найдут себе более перспективный вариант, чем блаженная Феодора Троицкая.

Постриг? Надо подумать о нём всерьёз, надо. Отец Вадим — батюшка «маленький», но настоящий. И храм его такой же: маленький, но самый настоящий. (Не обидела ли я его, слишком быстро согласившись с тем, что он «маленький»?) Не зря он то слово обронил про мой, «возможно, дар», и не обронил вовсе — долго над ним думал. Но уже сказала, чего боюсь в монашестве. А сейчас скажу ещё яснее: боюсь, что приду я в обитель, а там меня встретит знакомое мне лицо Оли Смирновой. Всё отглаженное, пронумерованное, одеяла заправлены, воротнички пришиты, ересь и блажь — в изолятор для иноверцев. Сапожками по плацу — гр-рум, гр-рум, гр-рум! Равнение на-пра-во!

Тут появляется на плацу отшельник в шерстяной накидке, с длинной бородой, с посохом в руке. «Ты кто такой?!» — кричит ему издали Ольга. «Я — Джиджой», — отвечает отшельник. «Диджей? Рэпер, что ли? Наркоман? Американский шпион? А ну, во-он отсюда!»

Ерунду какую-то пишу. Заболеваю, наверное.

Ещё один вариант будущего: стать, всем в пику, бизнес-леди, ходить в брючном костюме, кататься на авто с личным шофёром, подзывать мужчин наманикюренным пальцем. Но нет, не выдержу, сбегу. Скучно, мелко...

Вот занятие по мне: быть солдатом, женщиной-солдатом вроде Жанны д'Арк. Я бы выдержала, я бы смогла. Только вот грубость отталкивает... Я ведь не грубая, видит Бог, не грубая! Я бы так хотела быть тонкой, ласковой, нежной — вот как Аля Флоренская, например. И никто меня, никто не поддерживает в этом желании! Будущей матушке не нужно быть слишком уж тонкой. И инокине без надобности.

Автобус возвращается в гимназию, а я продолжаю.

В У. посетили мы два монастыря, в соборе внутри местного кремля послушали проповедь, после всем классом пошли в музей — «Палаты удельного князя». Здание двухэтажное, краснокирпичное, весёленькое, с выдумкой. Древнее: самое старое в нашей епархии.

Ну и что? Стыдно сказать, я к архитектуре почти равнодушна. Архитектура любого храма — для Христа. Архитектура ради себя самой — это «вчера мы ели сладкие весенние баккуроты». И не история меня трогает, а что-то личное внутри неё.

В музее привлекли меня не иконы убиенного Царевича, не фрески, не престольное место, не оружие. А застряла я напротив очень простенького экспоната на первом этаже. *Тетрадь для записывания уроковъ ученицы IV класса Анны Суриной. 1910 го года, 11го Января.*

Вот, одна русская девочка в провинциальном городе сто лет назад тоже вела свой дневник. Хочется мне зачем-то верить, что это был именно дневник, хотя тетрадошка — совсем махонькая.

Над тетрадью имелась и фотография — выпуск женской гимназии. Кажется мне, нашла я ту Анечку Сурину, хотя подписей к фотографии никаких не было, а просто выбрала себе девочку и решила её считать хозяйкой тетради. Вот эта, четвёртая слева, в первом ряду. Личико округлое, выражение глаз сосредоточенное. Волосы зачёсаны на косой пробор. Белый кружевной воротничок. Форма — почти один в один наша. Да и вообще не изменились люди за сто лет: те же лица. Вот батюшка во втором ряду, третий слева — это был их местный отец Вадим. Вот рядом с ним педагог в двубортном сюртуке, со стоячим воротничком: стриженные усы, короткая борода, взгляд внимательный, словно у доктора. Интересно, преподавали английский в 1910 году? Это уж едва ли, латынь — скорее. Он тоже, наверное, знал, что Sisoes — латинская транскрипция коптского имени? Может, и в Каире тоже был проездом...

Заканчиваю поздним вечером. Я всё-таки поссорилась с Ксюшей.

Началось с сущего пустяка: Ксюша сидела от меня через проход, и я решила ещё раз её поблагодарить за подарок.

— Пожалуйста, — ответила она. — Я всегда рада поддержать... менее обеспеченных. Не сразу я и поняла. А после сказала тихо:

— Я не бедная!

— Ты? — и Ксюша прям-таки вывалилась в проход, свесившись через подлокотник. Оглядела меня с головы до пят, выпучив глаза. — Да ты вообще нищая! Дашуля, не обижайся, что так говорю! Это ведь все знают, а на правду не обижаются!

Тут девочки притихли.

Ксюша права: я действительно почти нищая, и это правда все знают. В наследство я получила квартиру в двухквартирном деревянном доме в селе Троицкое, да и той я до своего совершеннолетия распоряжаться не смогу. Папа богатств не нажил, потому что, во-первых, был выдающимся человеком не от мира сего. Во-вторых, все силы его и все свободные средства уходили на реставрацию храма Святой Троицы, слишком большого для села, огромного, в два света. Заменяли крышу, восстановили купола, но так полностью и не закончили реставрацию! А последние годы, своей болезнью, и совсем ему было не до зарабатывания капитала.

Только я и сумела прошептать ей:

— Тебе однажды будет за это очень стыдно...

И услышала в ответ:

— Ой, а что это мы, обиделись? Что это у нас, глазки потекли? А я думала, Дашуль, тебя авва Сысой научил тому, что деньги — не самое главное в жизни.

Нет, глазки у меня не потекли, только заморгала я чаще обычного. Но ничего, справилась с собой. Авва Джиджой меня и вправду научил многому, а деньги — действительно в жизни не главное. Что бы он сказал мне прямо сейчас? «Плюнь на неё, мать Теодора». Или нет, мягче, ласковей: «Не волнуйся об этих вещах, сестрица». А *ей* бы он что сказал? Он бы её не стыдил, он бы нашёлся, что ответить, и со смирением, и с юмором! И Александр Михайлович тоже бы обронил что-нибудь про downright insulting со своим английским

аристократизмом. Как жаль, что я — ни тот, ни другой; как жаль, что мне ничего не пришлось в голову...

Соня попросила поменяться со мной местами и стала шёпотом выговаривать Ксюше. Та принялась защищаться: мол, наша блаженная сама везде суётся! Варя тоже вступила и гавкнула на Ксюшу, та огрызнулась. В общем, началась обычная девчоночья свара, ни секунды не православная. Я забила в уголок у окна и затихла. Поймала ладошку Сони и с благодарностью её погладила. Та в ответ пожала мне руку.

Не узнаю я себя! Раньше бы и сама ответила не хуже Вари. С чего я такой ранимой стала? Засмотрелась на Аню Сурина, русскую девочку? Нельзя, нельзя, нельзя становиться хрупкой! А так хочется...

Не любви даже хочется, а узнавания, когда падают все преграды и несколько секунд говоришь с другим человеком полностью на его языке, а он — на твоём. Хочется полного, беззаботного доверия, как между Лисом и Принцем. Такое вообще — сейчас бывает?

Ещё, из мелкого: Оля-то за меня так и не вступилась! Считает, что поделом мне досталось? Раздражаю я её своим «юрродством»?

* * * * *

18 февраля 2009 года, среда

Температуру, лежу в постели, не хожу на занятия. Простудилась в поездке, просквозило меня в автобусе.

Сегодня ночью мне (стесняюсь об этом написать) приснился Сатана. Ниже записала этот сон, как сумела.

От песка поднимается жар, и небо светится оранжевым, но солнца нигде не видно.

Прямо передо мной, метрах в пятидесяти, сидит на земле Враг. Он в точности такой, каким его изображают на иконах: чёрный, поросший шерстью, с двумя короткими крыльями и короткими рогами, с мордой вроде волчьей. Он высок — этажей десять — и страшен.

Меня он, правда, не пытается напугать — всего лишь глядит на меня, прищулив красные глаза. На его морде выражение презрительное, насмешливое, но умное. Глядит долго, словно на человека, которого когда-то знал.

Сатана заговаривает:

— Я тебя узнал, Теодора. Я тебя снова буду терзать, как и раньше. Тут бы мне и проглотить язычок. Не проглочу: не на таковскую напал!

Я не какая-нибудь безродная девка. Я дочь Аркадия Венедиктовича, русского иерея.

— Чем ты меня собираешься мучить?

— Похотью, как амму Сару, и другими дурными страстями, четырнадцать лет кряду.

— Соврал ты, Рогатый, — отвечаю я. — Тринадцать лет мучил ты амму Сару, не четырнадцать. Не верю ни одному твоему слову. А дальше что меня ждёт?

— Дальше умрёшь ты за свой большой грех. Жди огненную реку, и скрежет зубовой, и червя поядущаго, и пустоту, которая казнит.

— И снова тебе не верю, потому что Господь милосерд. — Старому знакомому не веришь? Не всё солгал тебе. Одно из сказанного правда. Что будешь делать с этим?

— Что буду делать — не знаю, — говорю я. — Знаю одно, Лукавый: сколько мне ни отпущено, буду тебя бить. Терзай меня, мне не жалко! Буду тебя в ответ бить до последнего вздоха.

Сатана колеблется в воздухе, словно мираж, и я понимаю, что разговаривала с наваждением.

Проснувшись, одно время припоминала во всех подробностях и очень гордилась, что такой *серьёзный* сон мне приснился, словно матери-пустыннице, и ответами своими тоже гордилась. После пришло мне в голову: вдруг обман? Вдруг, чтобы гордость во мне распалить, затем он и приснился?

(Писать «он» про Врага с малой буквы странно, но с большой уж совсем нехорошо. Буду с малой.)

Конечно, ради чего ж ещё? Да и то: как Сатане верить? А всё же отличие от простого сна есть, хоть этого никому говорить и нельзя. Отличие — в ужасе. Ужас во сне был густой-густой.

Решила: отцу Вадиму в этом сне исповедоваться не буду. Во-первых, не ответственные мы за сны. Во-вторых, уж очень горделиво выходит...

Но едва не сделала другое: едва не написала про свой сон Александру Михайловичу, учителю английского, на его электронную почту.

Только то меня остановило, что потребовалось бы мне спуститься в компьютерный класс. Куда ж я пойду с температурой? Никто меня ещё и не пустит.

И что мне за идеи бредовые приходят в голову? Зачем педагогу по английскому языку знать мои сны? Дура я душой...

А Врага я всё же бить буду, сколько бы мне лет ни было отпущено. Четырнадцать — так все четырнадцать.

Научиться бы ещё это делать...

* * * * *

20 февраля 2009 года, пятница

Перечитала последнюю запись с чувством лёгкой неловкости. Только болезнью её и объяснить.

Ни от чего написанного я не отрекаюсь, но всё-таки — неприлично семнадцатилетней девочке писать такие вещи! Не по чину.

Сегодня я почти полностью здорова и хожу на уроки. Сегодня же на английском приключилось небольшое происшествие. Вот как это было.

Дождавшись перемены между двумя уроками, я поднимаю руку и спрашиваю:

— Mr Azurov?

— Yes?

— Do you believe in Satan?

— What kind of a question is that! — он весело смеётся. — You've startled me, Dolly.

Я не смеюсь, даже не улыбаюсь в ответ, а продолжаю смотреть на него. Александр Михайлович тоже перестаёт улыбаться.

— You mean, do I believe that Satan exists? — спрашивает он. И после небольшой паузы прибавляет, не отводя от меня взгляда:

— Yes, I do. I absolutely do. I told you so in my improvised lecture about the Jabberwock, remember?

— Я помню вашу лекцию! — отвечаю я по-русски. — Но тогда мне было шестнадцать, а сейчас уже семнадцать.

— I see. May I ask why you're asking?

Я пожимаю плечами, строю какую-то гримасу. Не рассказывать же! Верней, я бы и сказала, но... не при классе же! Половина девочек вышла, но половина-то осталась.

— I think you should consult Father Vadim about that, — говорит учитель медленно, вдумчиво.

— Я думала... но лучше не буду. И я вас очень прошу, Александр Михайлович, ему тоже не рассказывать.

Учитель некоторое время колеблется, прежде чем дать обещание, а я про себя думаю, словно ставлю зарубку: если он всё, что со мной происходит, воспринимает полностью всерьёз, ему, пожалуй, можно верить. И если, вопреки всему, он мне сейчас даст обещание, то посчитает меня совершенно взрослой, ответственной за свои поступки. Тогда ему можно верить особенно.

— I hope you know what you're doing . . . I won't tell him, — выговаривает он наконец. — I promise.

Я киваю — и у меня словно даже подступают слёзы к горлу оттого, что со мной сейчас впервые в жизни обошлись как с полностью взрослой. Ерунда, незачем. Всё-таки я встаю и выхожу в коридор. Перемена ещё не кончилась. Девочки провожают меня озабоченными и удивлёнными взглядами.

Соня мой диалог с учителем английского тоже и видела, и слышала. После она меня всю истормошила: что это такое? Пытаюсь я произвести впечатление на педагога? Так с Алей Флоренской всё равно не смогу соперничать...

Нет, ни с кем я не соперничаю! Не выдержала я и рассказала Соне про свой сон в ночь со вторника на среду.

Глупо, бесконечно глупо! Такие вещи нельзя рассказывать никому, ни-ко-му, кроме, пожалуй, духовника — да и про него надо сто раз подумать... Особенно же глупо было то, что не взяла я с подруги обещание помалкивать: просто не сообразила.

Ну уж, конечно, и дня не прошло, как все старшие классы, и одиннадцатый, и десятый, стали судачить о том, что к Дарье Смирновой во сне приходит Сатана. Бóльшая часть девочек из нашего класса на меня теперь смотрит как на настоящую блаженную, запостившуюся,

замолившуюся, близкую к жёлтому дому, а меньшая часть — как на духовную подвижницу. Как мне им пояснить, что я ни та, ни другая? Соня, например, заявляет, что она мной восхищается. Ах, Сонька...

* * * * *

21 февраля 2009 года, суббота

Суббота у нас считается родительским днём. Ко мне приезжает Любовь Сергеевна, папина сестра, мать Оли, мой опекун до совершеннолетия. Тётя Люба — усталая женщина с добрым лицом, большими грубыми руками.

Мы сидим на моей постели, я с ногами ближе к подушке, она — в изножье, и говорим обо всяких пустяках. Меня расспрашивают о моей болезни, просят побереечь слабое здоровье. Не такое уж оно и слабое! Стоит прослыть блаженной, и начинают про тебя сочинять небылицы...

Дальше: можно ли ей пустить квартирантов в мою квартиру? Мне ведь она пока всё равно без надобности.

— Что за вопрос, тётя Люба, — отвечаю я. — Нужно так нужно. Лишняя копейка не повредит.

И прибавляю одну из наших сельских фразочек о том, что вовек буду помнить её доброту ко мне, сиротке. Тётя Люба умиляется моим ответом, смахивает несуществующую слезинку. Собирается уходить и вдруг спохватывается:

— Ах, да! Карточку тебе я привезла.

— Что за карточку? — не понимаю я.

— А мальчика, — бесхитростно поясняет она.

Мне показывают фотокарточку некоего Миши. На обратной стороне фотокарточки карандашом написан телефон. Миша худой, с узкими плечами, начинающими пробиваться усиками, оттопыренными ушами. Он смущённо улыбается в камеру.

Миша, поясняет моя тётя, — семинарист, четверокурсник. По благословию Владыки уже летом будет рукоположен во дьяконы, и ему, как всем семинаристам, до этого мига позарез нужна православная матушка. Что мне семнадцать — ерунда: дают и семнадцатилетним благословение на венчание, попустит Владыка.

— Я подумаю, — отвечаю я дипломатично.

— Подумай, Дарьюшка, подумай, хотя и думать нечего: хороший мальчик, чистый. Твою карточку ему тоже отдала. Можете и сейчас начать встречаться, можете и после экзаменов. Только слишком уж не затягивайте, ладно?

После ухода тёти Любы я некоторое время креплюсь, а затем падаю лицом в подушку и рыдаю, по-бабьи, навзрыд.

Я не хочу!

Я не хочу выходить замуж без любви, пусть даже этот ушастый, с усиками — и «хороший, чистый мальчик», и человек, наверное, достойный, и будет отличным дьяконом, а в своё время — и батюшкой.

Не хочу — но всё, настигла меня моя судьба, некуда деваться. Куда ещё деться мне, сироте, нищей, как сказала Ксюша, бесталанной, нечестолюбивой, с самым зауридным лицом и с тройками в будущем аттестате?! Не один — так другой, стерпится-слюбится, «квадратного ни у кого нет», как однажды при мне брякнула Варя (надо попросить, чтобы рассказала подробней). Пусть тогда будет Михаил. На фото он вежливый, робкий, не урод. Уши — ну что уши? С лица не воду пить, я и сама не красавица, пора мне уже привыкать к нему, даже и сейчас можно начать встречаться, за ручку только держаться, конечно, до свадьбы ни-ни, и ещё отлично мы с ним поладим...

Нет, нет, Господи, нет! За что?!

И Пустыня как же? И авва Джиджой? И Маленький принц?

Долго-долго я лежу и реву в подушку. Приходит Соня и гладит меня по спине. Я, зарёванная, рассказываю ей всё про «карточку». Она возмущена, негодует, от гнева даже белеет. Соня начинает сочинять выходы со мной, за меня. Все её сочинения — фантастические.

* * * * *

26 февраля 2009 года, четверг

Я набираюсь смелости и решаюсь поговорить о том, что меня мучает, с Варей. Предупреждаю её заранее о том, что у меня есть к ней разговор.

Вечером мы накидываем она — пальто, я — курточку и выходим во внутренний двор гимназии, чтобы нас никто не подслушал. Я огорашиваю свою приятельницу вопросом:

— Варя, скажи мне честно: ты девушка?

Варя останавливается, хлопает глазами, раскрывает рот:

— Что это ещё за вопрос такой? *Отцы-пустынники* не одобряют?

— Ах, как тебе не стыдно!

Волнуясь, я рассказываю ей всё: про Мишу; про то, что, скорее всего, выйду замуж за семинариста уже этим летом; что неопытна в одной всем интересной (а мне — ничуть!) области жизни, словно первоклассница; что знаний мне получить неоткуда... Нет, Варя, не хочу я идти в компьютерный класс и искать в сети голых мужиков! Убей меня Бог, не буду! Я боюсь, Варя... Это... больно? И потом, каждый раз, тоже больно?

Варя качает головой, дивясь моей наивности. Объясняет мне простыми русскими словами кое-какие физиологические подробности. Я слушаю через силу и борюсь с желанием закрыть уши ладонями.

— Тебе бы надо поговорить с Марией, — заканчивает она свой рассказ. — Или с Натальей. Они тебя обучат... премудростям.

— Они обе — уже?..

— Я у них под кроватью не сидела! Просто, Даш, как бы тебе объяснить... Они выглядят как женщины. Вырастешь — поймёшь.

И всё же под конец она не может удержаться от насмешки:

— Что, Дарья, не помогает авва Сысой в таких вещах? У грешниц приходится спрашивать, да?

Я, не отвечая, гляжу на неё с болью. Варя смущается, отводит глаза:

— Извини, зря сказала.

С Машей я, конечно, общаться об этом не соберусь, и с Натальей тоже не буду: не нужно мне никаких, спаси Господи, «премудростей». Больно только однажды, больше мне знать и не надо. Милосердно устроено.

Про Марию я и раньше догадывалась, да и не догадывалась — слышала, что говорят. Но Наташа? Она ведь вроде бы и не встречается ни с кем. Или...

Неприятная догадка закрадывается мне в голову, но я отмахиваюсь от этой догадки, как от мухи. Неправда! Всё я себе сочинила. Скверно я, скверно устроена, придумываю гадкое о людях. И туда же, погляди ж ты: решила с Сатаной сражаться четырнадцать лет подряд. Смех и срам, да и только.

* * * * *

28 февраля 2009 года, суббота

Последний день зимы. Летят густые мокрые хлопья снега — коснувшись земли, сразу тают.

Отец Вадим болеет, останемся мы завтра без Литургии.

Но без Закона Божьего и церковной истории сегодня не останемся. Прислали нам замену: отца Василия.

Отец Василий — мужчина тучный, сильный, крепкий, чернобородый, со звонким басом. На Законе Божьем он расхаживает между рядами, яростно клеймит язычников и вызывает нас

все силы, всё помышление положить на битву Православия с язычеством, с праздником Ивана Купалы и богомерзкими кришнаитами.

Я гляжу в окно на летящие хлопья снега, которые падают на плац. (Так называется асфальтовая площадка, на ней у нас проходят физкультурные занятия и торжественные построения.) На отца Василия мне глядеть не хочется.

Господи Боже, какая тоска!

Не ценим мы, что имеем! Только после такой дрессировки и начинаешь ценить кротость отца Вадима.

К празднику Ивана Купалы и прочим славянским игрищам я полностью равнодушна. Миску молока для домашнего я не наливаю. На святки тоже не гадала ни разу. Всё это глупости, кто бы спорил. Только сражаться с этими глупостями — глупость ещё в десять раз хуже.

Христос — Свет, Христос — Истина, Христос — Жизнь, Христос — Любовь. Это я знаю твёрдо. Но кому Христос — Свет, Жизнь, Истина и Любовь, тому уж не хочется ни через костёр прыгать, ни оставлять стопку водки на могилке. А кому не так, тому ведь насильно мил не будешь.

Про «богомерзких кришнаитов» я не знаю ровным счётом ничего. Только ведь, прежде чем в них кидать камень, надо бы их самих спросить, им самим позволить оправдаться? А у кого же я спрошу — неужели у отца Василия? Держи карман шире...

Ау, отец Вадим! Не надо нам этого шумного чернобородого батюшки, спаси Бог, не надо! Верните нам нашего, «маленького»!

Нет: пожалуй, и у отца Вадима про кришнаитов спрашивать не буду, и он мне про них не скажет правды.

Православие, понимаю я сегодня, бывает очень разное. Православие аввы Джиджоя — битва с Сатаной в жаркой пустыне. Православие моего папы — сельский храм на пригорке, и ясное голубое небо над ним, и тихое кладбище, и кусты сирени под окнами. Православие отца Вадима — это когда прекрасный человек в полутьме храма говорит тебе: «Я для этой хорошей девушки недостаточный духовник». Православие отца Василия — это мокрый снег, который падает на серый асфальт и сразу тает, никому не нужный.

Сколько в моей жизни будет голубого неба, и сколько — серого асфальта? Это сейчас зависит от таинственного Миши, от того, каким он человеком окажется. Его оттопыренные уши и маленькие усики ничего о нём как о человеке не говорят.

Но кое-что о нём говорит то, что он так легко пошёл на поводу у тёти Любы, так легко взял мою карточку, так легко увидел в незнакомой девочке свою матушку. А принеси моя тётя ему фотографию Али Флоренской, и в ней увидел бы. Или нет, не увидел бы: испугался, смекнул бы, что она — птица не его полёта. Лучше ведь синица в руке...

А сам мне до сих пор не позвонил ни разу! Мне бы, глядишь, одного-единственного звонка хватило, чтобы понять, что он за человек, можно ли ему довериться!

Мои мысли прерывает отец Василий. Показав на меня пальцем, он просит меня встать и перечислить основные опасности, которые для молодёжи исходят от язычества. Отец Вадим никогда себе такого не позволял и ни в кого не тыкал пальцами...

Встав, я с неудовольствием говорю:

— Батюшка, я очень плохо поняла материал урока, простите. Я знаю только, что египетские отцы-пустынники с язычеством не боролись. Они уходили в пустыню и молились о спасении души, иногда всю ночь напролёт. А с кем они боролись, так это с демоном блуда, и не в других, а в себе. — Тут я зачем-то гляжу ему в глаза и прибавляю: — До самой старости.

Мне тут же становится до ужаса стыдно, я, наверное, даже краснею. Не надо так, не надо! Даже и никудышный иерей — иерей, и вовсе ни с какими демонами женатый человек не борется. (Или борется? Не ответил мне отец Вадим на мои вопросы...)

В классе оторопь, шепотки. Сидящая на заднем ряду Наташа Яковлева издевательски хлопает в ладоши. Послал тоже Бог союзничка...

Соня, вскочив с места, что-то шепчет отцу Василию на ухо, косясь в мою сторону. Тот смягчается.

— Садись, девочка, — гудит он. — Замуж тебе надо, вот что. Тогда вся эта дурь из тебя и повылетит... Кто другой может ответить?

* * * * *

6 марта 2009 года, пятница

Весна уже в воздухе, но снег ещё не стаял. Дни тянутся тоскливые, пасмурные.

В начале недели я позвонила Мише первой. Голос в трубке — вежливый, приятный, чуть-чуть картавящий, в общем, точно такой же, как и сам Миша на фотографии. О встрече мы не договорились: я объяснила, что сейчас, в конце одиннадцатого класса, загружена занятиями, что мне из гимназии и на часок не вырваться. (Соврала, Господи прости, соврала!) А кроме того, с территории выпускают нас неохотно. (Отчасти правда: когда выходим, нужно докладываться на вахте, куда идём, и зачем, и почему. Но уж ради такого богоугодного дела выпустили бы.) Решили мы созвониться вновь недельки через две, обменялись приятностями.

Прекрасный мальчишка, наверное. Но неужели я за ним буду как за каменной стеной?

Моя собственная тоска делает меня более чуткой к тому, что происходит в чужой жизни. Верней, не чуткой, а приглядчивой. Я начинаю замечать — сегодня, например, — вещи, которых раньше бы не приметил.

Аля Флоренская странно держится в присутствии Александра Михайловича. Говорит мало, долго думает над тем, что говорит. Голос — словно у раненой птички. Мучительно жалко её.

После просмотра (на прошлой неделе) «Общества мёртвых поэтов» подготовила она тщательные ответы на вопросы по фильму, такие тщательные, что сегодня они, учитель и ученица, минут двадцать разговаривали друг с другом. По-английски, разумеется. Разговаривали, а мы слушали, не торопясь влезать: так хорошо по-английски, как она, из нас никто не говорит. Я же не столько слушала, сколько наблюдала за её лицом. Все эти двадцать минут ни разу прямо в глаза ему она не поглядела.

Влюблена девочка.

Ах, я бы на её месте тоже, может быть, в него влюбилась, с её-то внешними данными! Вру: и с её данными не влюбилась бы, и не оказалась бы я на её месте. А вообще девичья красота — это и дар, и наказание: сразу *не о том* начинаешь заботиться.

Аля, милая, как бы тебе помочь?

Теперь понимаю Сонино словечко о том, что, если хочу произвести впечатление на учителя английского, с Алей Флоренской всё равно у меня не получится соперничать. Да никогда и не мечтала! Но, как известно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. На перемене снова я поднимаю руку и спрашиваю:

— Александр Михайлович, мистер Китинг был к судьбе своего ученика равнодушен — и взял ведь грех на душу, правда?

— Этого в вопросах не было, но... я, пожалуй, согласен. А отчего вы не хотите об этом порассуждать на уроке?

— Ну, проходили мы уже ваше «на уроке»: буду говорить по-русски и заработаю тройку.

— Заработаете. Эта тройка как человека вас совсем не характеризует.

— Да, да, знаю... А я вот ещё про грехи хотела, хоть и не совсем по теме фильма... Выходить замуж без любви — это тоже грех? Не по-святоотечески, а по-вашему?

Долго, долго он смотрит мне в глаза:

— Так вы и не пообщались с отцом Вадимом, Долли?

— Болеет отец Вадим.

— Правда. Жаль.

— И мне жаль. Так что вы думаете?

— Думаю, что этого *никогда, никогда* не нужно делать.

— Спасибо!

— Было бы за что... Я бы очень хотел помочь вам, Долли, — вдруг говорит он. — Но ума не приложу, как.

— Уже.

— Уже?

— Да, уже. Вы уже помогли.

Краем глаза я ловлю на себе взгляд Али Флоренской. Она смотрит на меня с ужасом. Приревновала? Или знает, что со мной происходит, и ей меня жалко? Второе, наверное: конечно, знает, да кто не знает, я ведь две недели назад рыдала в подушку на всю гимназию!

Милая, ни ты мне не поможешь, ни я тебе. Слишком у нас разные судьбы.

* * * * *

8 марта 2009 года, воскресенье

Международный женский день в нашей гимназии не отмечают, хотя поздравление с праздником на первом этаже повесили. *Светский* праздник, по мнению отца Василия — так и вообще языческий.

Кстати, отец Василий, как рассказывают, сегодня служил в домовом храме и Литургию. Никакого обычного столпотворения и битвы за места не было. Ожидаемо, чего уж. Что он, у нас навсегда прописался?! Бегемот в посудной лавке... Дурно, надо зачеркнуть.

И меня на этой Литургии не было. В пятницу я подошла к Розе Марковне и чинно, благородно отпросилась на воскресенье в одиночную паломническую поездку. На севере областного центра, в районе под названием Горское, есть четыре стоящих близко друг к другу церквушки: Чуда Архангела Михаила, Успенская, Благовещенская и Троицкая. Как же мне, «Дорофее Троицкой», не побывать в Троицкой церкви? И на Литургию тоже успею... Разрешили.

Ехать до Горского долго. Храмы я и впрямь осмотрела — ничего, миленькие — и на Литургии в одном вправду постояла, но на Причастие не осталась: не исповедовалась же.

Вышла из храма и боролась с искушением сесть на автобус в центр города: они здесь редкие. Не села. Пошла куда глаза глядят.

Город скоро кончился, ведь Горское — это самый-самый его северный край. Дорога потянулась через снежное поле — снег уже рыхлый, осел, но ещё лежит. Я свернула с надёжной дороги и пошла к одинокому высокому тополю напрямик (на мне были резиновые сапоги, а и не было бы, не побоялась бы). Очень я люблю тополя! Жаль, в городах их что-то вырубать стали...

У самого тополя земля стояла. Я села на колени на плотную холщовую сумочку, которая досталась от бабушки, и сидела долго-долго.

Хорошо мне было, хорошо, покойно. Слёзы налетели, закапали как весенний дождик, но уже и кончились.

Там, под этим тополем, я кое-что и поняла про себя. Бывают дни-предвестники. Сегодняшний день — моя будущая жизнь, то есть если я не провороню свою жизнь, именно свою, не сяду в первый попавшийся автобус. И это, если получится его выбрать, самое лёгкое, самое покойное, самое лучшее.

Войти в храм. Немного постоять в нём. Дальше пойти куда глаза глядят, одной; свернуть с протоптанной дорожки. Опустить на колени на землю, коснуться земли руками. И так оставаться. Будет дождик, будет и ведро.

Всё это, дай Бог, случится, неизвестно как, в каком образе, но случится. Лишь бы не спугнуть...

В гимназии Роза Марковна меня отругала: поздно вернулась. Я только молчала и лупала невинными детскими глазами. Уж коли прослыла я «блаженной», надо иногда и на пользу это обращать себе, а не только во вред.

Роза Марковна в итоге смягчилась: обняла меня, поцеловала в лоб; сказала, что с людей вроде меня и сам Господь не спросит. Дала мне свой личный телефон на случай, если я где-то буду задерживаться.

* * * * *

13 марта 2009 года, пятница

Ох, святые угодники, начались наши мытарства...

Сегодня — первая большая стычка между учителем английского и нашим классом.

Ну, к этому шло, конечно. Искрило-то и раньше: помнится, в декабре Наташа что-то уже отчебучила, но тогда обошлось. Слишком уж Александр Михайлович «не такой»: не очень он «учительский», как мы все это слово понимаем, и не очень даже «русский». Каким ветром его надуло в нашу гимназию, ума не приложу. А мы как раз «такие», то есть все мы очень обычные, провинциальные. В оксфордах мы не обучались, по Коптскому кварталу Каира не хаживали. Ну и вот...

Распишу во всех подробностях, сколько бы страниц ни заняло.

На прошлой неделе задали нам делать доклады про особенности и проблемы образования в странах изучаемого языка. (Самое нелюбимое моё занятие! Ещё на прошлом докладе разревелась как дурочка. Уже писала об этом.) Всё же, с Божьей помощью да словарём, кое-что куцее я состряпала.

Большинство девочек ничего не подготовили. Помню ещё, Ксюша на перемене расхаживала по коридору, уперев руку в бок, и распространялась:

— Как хотите, я об этом писать не буду! В толчке на третьем этаже вода стоит неделю, и хоть бы кто почесался! Вы видели, девчонки? А что на обед давали, видели? А мы тут будем сидеть и квакать про проблемы американских школ из нашего болота! Ха! Три раза ха!

«Общество мёртвых поэтов», которое мы смотрели две недели назад, её не впечатлило: «Это старьё», «Сейчас совсем не так всё». Уж наверняка не так сейчас всё в американских школах, только почему-то думаю, что не лучше, а хуже...

У воцерковлённых девочек, включая даже и меня, задание тоже вызвало лёгкое раздражение. Чтобы подготовить его как следует, нужно поискать материалы в Интернете, идти в компьютерный класс, а рабочих компьютеров, между прочим, ровно шесть штук! (Правда, и Евдокия, и Аля Флоренская, в отличие от нас, в этом классе — частые гости. Девочки шепчутся, что не к урокам готовится Аля, а якобы пишет учителю английского любовные письма, за чем её будто бы однажды даже поймали. Как им не стыдно!) Шесть штук, а нас тринадцать, и класс выпускной, и при том английский — не наш главный предмет! Варвара Константиновна, которая вела английский в первой четверти, никаких *таких* докладов не задавала!

В общем, долго ли, коротко ли, не подготовили мы докладов. Дошла до них очередь на второй половине «пары». (В старших классах уроки сдваивают. Готовят нас к вузу, видимо.) Аля уж развернулась бы, но педагогу, наверное, было неловко за то, что он на прошлой неделе так долго с ней проговорил, и он начал спрашивать с другого крыла. «Не готова», «Не готова». Вот я лепечу что-то ради разнообразия. Мистер Азуров прерывает мои мучения и протягивает руку за моей тетрадкой. Проглядев мой доклад-курам-на-смех и коротко хмыкнув, он ставит мне в тетрадь и обводит кружочком C+ — тройку с плюсом.

— That would be a 'C plus.' You don't mind, Dolly, do you? If you *still* want to deliver your report in full, you are, of course, very welcome to do so.

— Нет, я совсем не still want, — быстро соглашаюсь я. — Спасибо.

И снова — «не готова», «не готова». А кто вообще готов? Аля робко поднимает руку. Александр Михайлович коротко мотает головой, показывая, что не будет её спрашивать; пере-

бирает пальцами по столу. Я понимаю: от урока осталось ещё полчаса, надо эти полчаса чем-то занять. Нет, опасная профессия, непредсказуемая. Не хочу быть учителем.

— Fine! — говорит он наконец. — If you cannot prepare your own materials, you'll deal with mine. There you go . . .

Он достаёт из сумки и раздаёт нам распечатки газетной статьи из «Зэ Телеграф» под названием *Sir, Are You Queer?*, совсем свежей, от десятого марта. Нам нужно прочитать статью самостоятельно, выделить в ней самое важное и быть готовыми сказать, с чем мы согласны и с чем не согласны, а также что вообще мы думаем по этому поводу.

Я шепотом уточняю у Сони значение слова *queer*. Она, тоже шёпотом, поясняет: про содомитов. Варя, усмехнувшись, добавляет в голос: про пи. . . сов.

— I like your straightforward manner to call things by their names, Barbara, — замечает учитель. Сложно понять, говорит он серьёзно или иронизирует. Сложно. Но с темой он попал в точку. Разве можно сравнивать постные щи в нашей столовой или этот несчастный унитаз с тем, что где-то школьников глядят по головке за содомию? Сейчас только ещё по головке глядят, а скоро и обязательным сделают. . .

Проходят пятнадцать минут, которые нам дали на чтение статьи. Я выписываю новые слова: *homosexual, lesbian, LGBT*. Спрашиваю у учителя значение этих слов. (Девочки усмеваются: я одна, деревенщина, их не знаю.) Готовлю своё выступление, по-русски. На уроках английского есть правило: по-русски отвечать *можно*, если того, кто отвечает, устраивает тройка, а она меня вполне устраивает. Меня, боюсь, не спросят, даже если я и руку подниму: у меня уже есть оценка.

Меня действительно не спрашивают. Спрашивают мою сестру, Марию, Варю. Оля и Маша по очереди читают вслух и кое-как переводят назначенные им абзацы, а обсуждать статью отказываются. Варя и вовсе заявляет, что повадки голубой братии ей изучать противно, оттого она ничего не поняла и не перевела, даже не старалась. Нас эта беда не коснётся!

Тут кто-то нехорошо усмехается, кажется, Наташа. Я вспоминаю свою догадку про неё.

Учитель, пожав плечами, ставит Варю двойку недрогнувшей рукой и наудачу спрашивает Катю. Катенька, наша мышка, тоже не справилась. И тут от Наташи прилетает:

— Александр Михайлович, правда, зачем мы это читаем? Мы все здесь такие разные, а нам всем это неприятно! У кого-то даже есть гомосексуальные друзья, но они ведь об этом помалкивают! Они просто хотят, чтобы их оставили в покое! Чего вы хотели добиться? Зачем вы всем нам этой статьёй испортили настроение?

В её словах есть что-то совершенно бесстыжее, и больше всего бесстыжести — в том, что «гомосексуальные друзья» есть у неё самой. А может быть даже и . . . Не моё дело, но, Наташенька, зачем же ты в *православную*-то школу пошла учиться? Поцекотать нервы? И ещё символ схимничества со святой Афонской горы, череп с костями, носишь на шее! Вот это уж совсем позорно!

Всё это я порываюсь сказать, хотя лучше помолчать: неумные слова, страстные. Нам бы всем помолчать, остыть: все мы задеты. И учитель задет. Он встаёт, прохаживается по классу и наконец обращается к нам с речью, по-русски:

— Вы все неправы. И те, кто числит себя внутри Церкви, и те, кто собирается поскорей отряхнуть пыль родной веры со своих ног, не понимая, что это не пыль, а дорогая земля вашей Родины. Вы, первые: что вы скажете, если через двадцать лет ваша дочка придёт к вам и спросит: «Почему девочке нельзя ложиться в постель с девочкой?» — или, хуже, заявит: «Мама, знакомься, вот эта дамочка — мой муж!»? Ничего вы не скажете, нечего вам будет сказать, ведь вы не потрудились заранее осмыслить, *отчего* содомия — грех; ведь думать вам об этом было противно! А вы, вторые, кто тянет тощие шейки в сторону сияющего Запада: где вы слышали, что ваше настроение — святыня? Это не так, представьте себе! Напрягите всю силу своего ума и подумайте о том, что образование совершается совсем не для того, чтобы

вам было «приятно»! Вы похожи на страусов, которые прячут голову в песок! Но голову нельзя прятать в песок — жизнь слишком часто подсовывает нам бетонный пол! Я очень недоволен вами, а вами, мадам Яковлева, особенно: это уже ваша вторая попытка заткнуть мне рот своими «оскорблёнными чувствами». Всем, кто не подготовил доклады, мне придётся поставить два: вы ничего больше не заслужили. Пожалуйте на меня Светлане Борисовне, если желаете! И не думайте, что я в этом случае задержусь у вас в школе хоть на минуту. Домашнее задание вы получите через старосту. До свиданья!

Он уходит, хотя звонок ещё не прозвенел. Мы, пришибленные, молча сидим минуту или две. После кто-то высказывает в Наташин адрес:

— Сумничала, да? Хорошо сделала?

Та, понятно, тоже не остаётся в долгу. Слово за слово, и достаточно быстро устраивается гвалт и склока, как в автобусе из У. Мария встаёт, большая, страшная, и рывкает на класс:

— А ну, заткнитесь, дуры! Правильно вам прописали! Правильно, только, вижу, мало!

Слушать всё это нет никаких сил, поэтому я выхожу из класса. Стою в коридоре, собираясь с мыслями.

Читать статью было неприятно, и причины злиться у девочек, пожалуй, имелись, но ведь и думать она заставила?

Неужели нужно сражаться, *всегда* сражаться? (Приходит мысль: да, мы одной крови с ним, потому что он точно так же не боится принимать бой.) Сражаться — и словами тоже, не только молитвой? Но как быть тем, кто, как я, умные слова произносить не умеет? Что же мы, уже заранее проиграли?

Война с Лукавым — разная, и А. М. в этой войне выступает *против* Врага. Выступает смело, не боясь запачкаться, не боясь пораниться. Других тоже нечаянно ранит... Но это война за сердце, и в ней слова — не главное оружие, ведь не слова убеждают, и не будешь мил насильно. Он в чём-то неправ, и мне нужно ему об этом сказать.

Сделаю паузу, отдохну немножко.

Сейчас, перечитывая, удивляюсь себе: как я только смелости, или нахальства, нашла в себе — поучать, во-первых, учителя, во-вторых, человека умнейшего, не чета отцу Василию? А так и нашла, что моя духовная единокровность с ним мне тогда вновь открылась. И не жалею: если бы нужно было повторить — повторила бы. Не ошиблась я: всё замечательно вышло.

Вот так, а теперь буду продолжать.

А. М. ещё не ушёл. Я нахожу его в учительской, в которую нам заходить нельзя, оттого я просто стучу в дверь и просовываю голову внутрь. Педагог сидит и невидяще смотрит перед собой. Поворачивает голову ко мне; на его лбу — хмурая складка.

— Долли, вы? Подождите секунду.

Он выходит в коридор:

— Вы из-за оценки? Я вам поставил тройку, не волнуйтесь.

— Нет, не из-за оценки, — на меня вдруг накатывает гнев. — Как вы вообще могли подумать, что я к вам подойду из-за оценки?! Какое значение имеют оценки?!

Я, кажется, его испугала. Он делает шаг назад, виновато улыбается, говорит извиняющимся голосом:

— Пожалуйста, не ругайте меня, Долли! Я и сам себя всего изругал. It seems I am a lousy teacher, you know . . .

«Пожалуйста, не ругайте меня»! Ребёнок, чистый ребёнок...

— Я не знаю слова *lousy*, — отвечаю я, — но что это мы: в проходе будем стоять? Пойдёмте поднимемся на третий этаж.

Мы поднимаемся в рекреацию и садимся на скамейку напротив входа на лестницу в домовый храм. А. М. морщится, увидев эту скамейку:

— Знали бы вы...

— Что такое?

— Нет, ничего... Наталья однажды пробовала меня соблазнить на этой скамейке. Я не должен был вам говорить, простите. Само вылетело.

— Как это — соблазнить?

— Так это: предлагала встретиться после занятий с недвусмысленными целями.

— Ну да, вы же ещё красавец-мужчина. Не достались ей, вот теперь и бесится. Ясно!

— Вы умилительно прямая, словно Варя.

— Нет, не словно... Александр Михайлович, мне кажется, я на вас и вправду сердита.

— Чем я вас обидел? — он заглядывает мне в глаза. — Вам тоже было противно читать про...

— Про «противно» вы нам сегодня справедливую отповедь дали, и я её усвоила. Нет, всё сложнее... Я всё думаю про ваши слова: «Мама, познакомься, эта дамочка — мой муж». Ужасная картина! Ножом по сердцу. И, если моя дочь мне такое скажет, это будет для меня значить, что умные слова уже бесполезны, что я как мать допустила ошибку гораздо раньше, что не вышло из меня хорошей матери! И даже другие слова — «Мама, почему девушке нельзя спать с девушкой?» — они...

Мне вдруг приходит в голову, что я так смело рассуждаю об этих материях со взрослым человеком, учителем, мужчиной, и я густо краснею. Он подбадривает меня:

— Не стесняйтесь и, пожалуйста, говорите всё, что думаете.

— А я уже и запуталась...

— Вы хотите сказать, Долли, что это сражение не выиграть словами. Оттого и проблемные темы поднимать не стоит?

— Темы поднимать стоит, особенно если вы бесстрашный человек. Вам эти двойки девочки ещё попомнят... Стоит, но эту войну и впрямь не выиграть словами.

— А чем?

— Молитвой...

Сказав последнее слово тихо-тихо, я хочу забиться в щёлку от стыда. Нашлась тоже египетская старица.

Но А. М. не спорит со мной, не удивляется и не сердится. Он лишь качает головой, вздыхает:

— Вы, возможно, правы! Только из меня плохой молитвенник.

— А из меня плохая мать, — неожиданно говорю я. — Сегодня поняла.

— Простите? А разве вы уже...

— Нет: просто единственное, к чему я пригодна, — быть православной матушкой. Мне ведь уже и жениха насватали, семинариста! Не могу, не хочу, не лежит душа...

— Ваш вопрос в прошлую пятницу — с этим был связан?

— С чем ещё!

— Бедная...

Мы сидим и какое-то время грустно молчим.

— Я не знаю, каким будет ваш путь, Долли, как вы его пройдёте, — заговаривает А. М. — Не знаю, что для вас, такой особой и удивительной, лучше, и где в нашем грубом мире разыскать это «лучше». Я только надеюсь, что вы сумеете пройти именно по своему пути, своему, а не чужому, и до самого конца.

— Я то же самое говорила себе в прошлое воскресенье! Послушайте... — я встаю. — Дайте мне благословение, хоть вы и не священник! *Светское* благословение идти только своим путём и больше ничьим!

— Устное или письменное? — он улыбается.

— Любое!

А. М. ненадолго задумывается. После достаёт учительский ежедневник. Открывает его на чистой странице. Пишет четыре строчки своим красивым, отчётливым почерком. Аккуратно вынимает этот листок и протягивает мне:

— Пожалуйста! Это — из поэмы женщины, которая чем-то была на вас очень похожа.

Я складываю листок вчетверо и прячу его в соединённых ладонях. Тихо прошу:

— Я пойду, можно? А то как бы про нас не начали сплетничать. («Уж хватит, что про Алю сплетничают», — хочу я прибавить, но прикусываю язык.)

Учитель кивает.

Вот, добралась кое-как до конца сегодняшних событий. В жизни столько не писала! Умалась — бесконечно. Но и надо было это сделать: не один раз и не два ещё перечитаю, передумаю написанное. Каждый у жизни учится как может. Я вот сейчас учусь из своего дневника.

Что-то предчувствую, что волнения не кончились, а только начинаются.

А теперь — минутка английской поэзии.

Does the road wind up-hill all the way?

Yes, to the very end.

Will the day's journey take the whole long day?

From morn to night, my friend.

Christina Rossetti

Далёкая-далёкая мне женщина написала это. А. М. меня старше на двадцать три года, а она — на век? на полтора? Никогда я её не увижу, никогда не поговорю с ней. А вот поди ж ты! Она мне уже сейчас ближе, чем многие мои одноклассницы. Чудны дела Твои, Господи.

* * * * *

17 марта 2009 года, вторник

В классе зреет недовольство учителем английского. Ползут шепотки, рассказываются сплетни, строятся козни. Большинство обижены на двойки, ровную колонку двоек, а ведь аттестат не за горами. Многие девочки оскорбились из-за «страусов». Мне кажется, именно моя сестрёнка мутит воду.

Вчера вечером у нас с Олей происходит разговор.

Разговор этот начинается она — неожиданно, с места в карьер. Долго рассуждает про мою наивность, церковную и политическую.

А после переходит к главному. Учитель английского вреден для школы; может, даже и опасен. Он слишком «не такой» (точь-в-точь мои слова, да недаром же мы двоюродные сёстры). Он открыл в нашей гимназии форточку, считая, что проветривает помещение, а из форточки сквозит, и многие могут заболеть. Зачем, в самом деле, будущим матушкам знать про «голубую братию»? Варя грубо об этом выразилась, но суть дела она схватила верно.

Я слушаю Олю и всё больше понимаю, что А. М. в чём-то прав — верней, в чём именно он прав. Словами не завоеешь чужой любви, не поправишь того, что выросло криво, здесь он ошибся. Но продуманными словами можно остановить чужое коварство или глупость. В плане моей сестры — и коварство, и глупость. А нужных слов, как назло, у меня почти нет...

План вот в чём. Мистер Азуров — большой умник, но не православный человек. Скорей всего, даже и вовсе неверующий. Надо поставить перед ним вопрос: «Како веруеши?» Во что веришь, какому Богу поклоняешься?

И... как бы не мне нужно поставить этот вопрос!

— С какой стати, Оля?!

— С той, что ты наша записная «блаженная»! Тебе всё сходит с рук! Даже диву даюсь, каким образом... В воскресенье шесть часов пропадала — и хоть бы хны! Только пожурили тебя, а другой бы сняли голову. Батюшке надерзила — и ей как с гуся вода!

— Я не дерзила...

— Дарья, пойми, я тебя не порицаю, — упрямо гнёт своё Оля. — Твои качества в этом деле очень даже пригодятся. Послужи и ты благу... коллектива, а не только своим фантазиям! Подними на английском руку, скажи: «Разрешите спросить, Александр Михайлович? А в Бога вы веруете? И в какого Бога? Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, или в своего, заморского? А Символ-то веры помните дальше?»

Если честно, вопрос о вере А. М. в Бога меня волнует и саму. Я *почти* разрешила его для себя в положительную сторону, *почти* — не совсем. Но то, что Оля предлагает, — ужасно. Наедине я, пожалуй, могла бы задать такой вопрос. А при всех, в классе? И этим обвинительным тоном? После его благословения, после Кристины Россетти? Немыслимо.

Я пробую пояснить, отчего вся затея нелепая:

— Оля, ты думаешь, будто ко Христу человека можно привести словами. Так не бывает...

— Глупая, Дарья, какая же ты глупая! Я не собираюсь его приводить ко Христу — вот ещё, удумала тоже! Я его хочу вывести на чистую воду, а после сделать, чтобы его попросили с вещами на выход! Муху, которая залетела в комнату, ты тоже будешь приводить ко Христу? Ты ей откроешь окошко!

— Муху, значит?

— Скажи спасибо, что не таракана!

— А меня хочешь сделать мухобойкой?

— Зачем так грубо!

— Оленька...

— Что?

— А иди-ка ты...

— Бессовестная! А мать ещё о тебе заботится!

Удивляюсь, как не схлопотала пощёчину от неё. Тут разговор, понятное дело, и закончился.

Надо предупредить А. М. об опасности. А надо ли? И велика ли опасность? Ему, который исходил весь мир, наверное, смешной кажется наша возня и маловажным — место учителя в провинциальной гимназии...

* * * * *

18 марта 2009 года, среда

Я решаюсь действовать. Может быть, я всё преувеличила, но сидеть сложа руки — позорно.

На перемене, поймав минутку, когда рядом никого нет, я подхожу к Але Флоренской:

— Аля, ты не дашь мне телефон Александра Михайловича? Я знаю, у тебя должен быть, ты староста.

Аля, хмурая, кивает, достаёт телефон из сумочки, начинает листать контакты. Я люблюсь ей вблизи. Она такая красивая! Словно древняя фреска.

Аля вдруг спохватывается:

— Зачем тебе?

— Ему грозит опасность, — объясняю я. — Плетутся интриги, а ты и не знаешь. Думаю, хорошо бы его предупредить. Вообще-то и ты могла бы... Может быть, *ты* хочешь позвонить?

Аля решительно мотает головой из стороны в сторону и протягивает мне телефон:

— Вот, нашла.

Вечером, выйдя во двор гимназии, я набираю номер учителя английского:

— Александр Михайлович, это Дарья, которую вы зовёте Долли. Здравствуйте! Вам угрожает опасность — вы это знаете?

«Долли? Как неожиданно... Какая же опасность мне угрожает?» — судя по голосу в трубке, он улыбается.

— Вас хотят выставить неправославным человеком и чуть ли не нехристом. Вас, возможно, будут спрашивать при всех, верите ли вы в Бога, и в какого именно. А кстати... вы в Него верите?

«Верую. Верую во Единого Господа Иисуса Христа. (У меня отлегает от сердца.) Пользуясь вашим собственным выражением: как вы вообще могли усомниться?! Только мне не хватает драматизма ваших семнадцати лет, увы...»

— Ну, не обижайтесь, пожалуйста... Вас хотят как-то опорочить и заставить уволиться — это тоже шуточки?

«Ух ты, ух ты! — ему всё нипочём. — Если бы вы не были таким цельным и, главное, *нелитературным* человеком, я бы решил, что вы перечитали детективных романов. Долинька, о чём угодно я буду сожалеть на пороге смерти, но едва ли о несостоявшейся карьере педагога английского языка».

— Я так и знала... — шепчу я убито.

«Нет, нет, подождите, не вешайте трубку! Простите за глупую шутку про вашу нелитературность. И правда: что вы сейчас читаете?»

— Вам для чего?

«Беспокоюсь о вашем развитии в свободное от работы время, только-то и всего. Не хотите — не отвечайте».

— Нет, почему же. Читаю я мало, но недавно закончила «Изречения египетских отцов» и...

— «*Apophthegmata*! Восхищён. И?»

— ...И «Маленького принца».

Сейчас он, наверное, посмеётся над тем, что я из детства не выросла, — он ведь всё время надо мной смеётся...

Нет, А. М. не смеётся. После короткой паузы он задумчиво отвечает:

«Великая книга! Великая *философская* книга. Какие безупречные, хорошие книги вы читаете — и знаете, я вам немного завидую: вашим семнадцати, вашей строгой избирательности. Я-то в своё время был всеяден, тащил в рот что ни попадя... Кто вам ближе всех в «Маленьком принце»?»

— Лис, наверное, — говорю я прежде, чем успеваю подумать.

«Изумительный ответ! И полностью понятный: вы сами в точности как он... Помните, что Лису нужен кто-то не меньше Принца! Вы ведь помните? У нас вышел странный разговор, Долли, и простите за то, что задержал вас. Я живу один, мне бывает тоскливо... Что это вы смеётесь?»

Я действительно смеюсь и через смех поясняю:

— Не мне, которая вас спрашивала, верите ли вы в Сатану, жаловаться на странность наших разговоров! До свиданья! И это... поберегите себя по возможности, ладно?»

Мы прощаемся, и я возвращаюсь в спальню, чтобы сделать эту запись. Мне беспричинно весело. Я словно поговорила с далёким старшим братом, с земляком в чужой стране.

Грех, грех рассуждать про чужую страну! Живу я в России, самой замечательной стране мира. У меня прекрасные подруги (одна) и вполне сносные одноклассницы. А всё же чувство *пустынности* — его не отменишь.

* * * * *

20 марта 2009 года, пятница

Нет, не обмануло меня предчувствие про мытарства...

Али до сих пор нет, и вся школа стоит на ушах. А у меня дрожат руки, когда я пишу эти строчки. Но надо изложить всё по порядку. Пока пишу, заодно и успокоюсь — насколько вообще можно сегодня успокоиться...

Сегодня — очередь грамматики. Мы изучаем разницу между *Past Simple* и *Present Perfect*. Наташа вдруг поднимает руку.

Ещё до того, как она встала, на меня накатило чувство тошноты и ужаса. Ох, надо было выйти из класса!

— Александр Михайлович, можно? Я хотела вас поблагодарить за статью, которую мы разбирали на прошлой неделе. За ваше предложение не стесняться обсуждать проблемы сексуальных меньшинств.

— Thank you, even though it wasn't quite what I meant . . .

— Подождите! Именно благодаря мужеству, которое вы нам дали, *я теперь могу вслух сказать, что являюсь лесбиянкой и живу половой жизнью с женщинами.*

Наташа проговаривает каждое слово громко, чётко, презрительно.

Класс замирает. У меня сдавливают сердце.

Пришла беда — отворяй ворота. Не от Ольги, а совсем с другой стороны.

Кто же, бессовестная твоя душа, тебе давал мужество?! Тебе разве *на то* мужество давали?!

— Зачем вам этот скандал? — с состраданием и грустью спрашивает учитель.

— Чтобы быть честной! — бросает Наташа. — Можно сесть?

Александр Михайлович машет рукой — мол, «делай что хочешь!» Кое-как, не очень заботясь, доводит до конца урок; выходит из класса до звонка. Мне хочется выйти за ним следом, но не получается: я понимаю, что у меня и ноги стали как ватные.

— Что?! Это?! Такое?!

Это Оля, конечно.

Тут же, будто все только и ждали её сигнала, в классе устраивается бедлам. Наташа сидит, глядя прямо перед собой, сложив руки на груди. На её лице презрительная усмешка.

Я вдруг на секунду прижимаю ладони к ушам, а затем прячу в ладонях лицо. Мне мучительно стыдно, хоть я ни в чём и не виновата. Это тоже замечают: меня «поднимают на знамя» и кричат что-то вроде «Поглядите на Дашеньку! Она разве для того в православную гимназию поступала, чтобы на уроке про извращенцев слушать?!».

Цирк, цирк, кровавый цирк, как во времена древних христиан...

Моя сестра развивает кипучую деятельность и организует после уроков собрание класса в Комнате отдыха. Наташа на собрании отсутствует.

Обсуждается Наташино поведение. Принято решение объявить ей бойкот. Моё сердце не на месте. Негодование девочек понятно, но... уж больно всё смахивает на травлю из фильма «Чучело»! Да и как решать без той, про кого они решают?

И ещё: *бойкот как способ врачевания греха*? Что-то я за всю двухтысячелетнюю историю Церкви не помню такого... Я хочу об этом сказать, но язык меня не слушается. Да и сложно говорить в таком гвалте.

Аля, которая на этом собрании сидит белей мела, объявляет, что воздерживается. Я тоже не голосую. Решение о бойкоте принимают и без наших голосов.

Что же, мы можем разойтись?

Нет, разойтись мы не можем. Оля поднимает новый вопрос: отношение к учителю английского.

Ну да, это ведь уроки английского дают мужество содомиткам внутри нашего класса открыто говорить о своей содомии. Всё понятно.

«Зорко только сердце, — сказал Лис. — Самого главного глазами не увидишь». Но мои одноклассницы сейчас глядят именно глазами. И эти глаза видят картину, нарисованную Наташей. Далеко пойдёт Наташа, политиком, наверное, станет. Избави нас Боже от таких политиков...

Отовсюду несутся возмущённые выкрики и вопросы. «Кто вообще сказал, что будущей матушке нужен английский?», «Чему хорошему мы можем научиться от страны, премьер-министр которой в юности сношался со свиньями?» и прочее всё в том же духе. «Закрой уши», — советует мне кто-то. И я действительно на какое-то время закрываю уши.

Аля берёт слово — ей приходится немного повысить голос. Она пробует объяснить классу, что та злополучная статья была не злом, а *прививкой* от зла. Какая она умница! Её бы слова да Богу в уши. Только не в уши нашему классу.

— Ты говоришь, — возражает ей Варя, — что Александр Михайлович на стороне православных людей. Почему тогда на прошлой неделе нам дали статью про лесбиянок, а на этой твоя подруга себя объявила лесбиянкой? Никак одно с другим не связано? Случайно вышло?

— Это была провокация, Варя!

— А зачем ей понадобилась такая провокация?

— Из ревности, — шепчет Аля одними губами. В классе становится тихо-тихо.

Милая девочка! Бесстрашно, зажмурив глаза, карабкаешься ты на свою малую Голгофу. Может, и ты — из нашей породы?

— Ну, я не удивлена, — это вступает Оля. — Все давно знают, кроме пары человек, которые витают в облаках, — взгляд в мою сторону, — что Аля неровно дышит к педагогу по английскому... Но вот *ревность* — что-то новенькое. Аля, ответь-ка нам: ревность-то появилась сама собой? Или ты тоже дала... надежду своей подруге? Может, и не только надежду?

Алины глаза быстро наполняются слезами. Надо подойти и обнять её, немедленно! Обнять — и вывести вон отсюда. Но я вместо этого прячу лицо в ладони. Чувствительность — скверное качество, скверное! Там, где нужно немедленно помогать, это качество только льёт слезы, и потому мало в нём настоящей любви. Надо это заучить на всю жизнь, накрепко! Уж больно дорогой урок...

Снова выкрики со всех сторон, и враждебные, и сочувственные. Мне настолько плохо, что я даже не различаю, что говорят, кого теперь предлагают судить...

Вдруг меня словно ударяет обухом по голове: Аля Флоренская больше не в Комнате отдыха! Я не заметила, как она вышла. А эти всё каркают! Вороньё...

Я вскакиваю с места и, не обращая внимания на Ольгины окрики, выбегаю тоже.

В коридоре рекреации нашей старосты нет. Нет в домовом храме. Нет в спальнях. Нет ни в одном из классов. Нет в столовой, гардеробе и вообще нигде в здании. Нет на внутреннем дворе.

Я выбегаю на улицу, в свежий мартовский воздух. Стою, бесполезно крутя головой, опустив руки. Куда теперь бежать? Ах, какие же мы все остолопки! И я из них — самая главная. Нашла время заливаться слезами, словно кисейная барышня!

В соседнем с гимназией дворе, у наполовину вкопанной в землю шины, которыми обычно ограждают клумбы, я нахожу Алину заколку. Отчего-то всё внутри меня рушится от этой заколки. Я сажусь на ту же шину и плачу навзрыд.

Собрание вяло переругивается, а Варя строчит в углу протокол, когда я вхожу в Комнату отдыха и, держа в руках заколку, с ещё красными глазами, но твёрдым голосом объявляю, что Аля пропала. Нам нужно поставить в известность администрацию гимназии, во-первых, и милицию, во-вторых. Если никто этого не сделает, это сделаю я сама.

Все головы поворачиваются ко мне, и я вижу, как на лица девочек медленно спускается стыд и понимание, что они — мы — действительно сотворили не просто скверный поступок, а не настоящее ли злодейство?

Злодейство, написала я, и не отступлю от этого слова.

На часах около десяти вечера. Аля до сих пор не вернулась, и не берёт трубку. Время отбоя, но, конечно, никто во всей гимназии не спит. У директора и завуча нет сил настаивать: не до распорядка дня. Роза Марковна и Светлана Борисовна беспомощно ходят по первому

этажу, словно тени самих себя. Родителям, кажется, уже кто-то позвонил, и милицию тоже кто-то наверняка вызвал.

Я пишу дневник. Оля несколько раз приглашает меня на разговор. Я не отвечаю раз, другой, третий. На четвёртый я поворачиваю к ней голову и, глядя ей в глаза, отвечаю:

— Я не хочу с тобой говорить. Поговорим потом, ладно? Когда она найдётся. *Если* найдётся.

Сестра отворачивается, спав с лица.

Жестокосердно, но я ведь не Господь Иисус Христос. Я — просто семнадцатилетняя русская девочка, и этой девочке больно, и стыдно, и страшно.

Гадала только что по Евангелию, и выпало: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове сочтены». Ах, как хорошо! Всё ещё обойдётся. Я верю, что всё обойдётся.

* * * * *

21 марта 2009 года, суббота

Аля нашлась вчерашним вечером. А сегодня её уже забрали.

Нет, всё в порядке: забрали домой, живую и здоровую, родители, а не посторонние люди. Но вот сама история... Не знаю, что и думать.

Никогда моё сердце не было настолько не на месте!

Запишу просто события, продумывать их буду потом.

Вчера, уже закончив писать дневник, я поняла, что заснуть так и не смогу. Тогда поднялась в домовый храм, чтобы помолиться. Корю себя за то, что так поздно сообразила. Вообще, все мы хороши, курицы. Не паниковать надо в любой беде, а молиться! Какие мы православные!..

Находясь в храме, я услышала шум подъезжающей машины, прямоугольники света от фар проехали по потолку — и наитием поняла, что, кажется, всё уже устроилось.

Спустилась вниз. Пройти все наши лестницы до вестибюля первого этажа занимает минуты три, не меньше.

В вестибюле увидела я всю ту же толпу праздного народа, включая половину нашего класса, и милиционера, который читал Але (облегчение!) лекцию о вреде распития спиртных напитков и беспорядочных половых связей (что?!), а та слушала, по временам сглатывая слезинку. Тихо я ушла: христиане — не зрители в Колизее. Помочь я всё равно не могла. Почему не ушли другие — оставим на их совести.

После я узнала подробности — от Сони, от Вари. Обе рассказали одно и то же, поэтому нет причин им не верить.

По словам и той, и другой, Алла вернулась в гимназию в половине двенадцатого. Вошла — и немедленно столкнулась с толпой наших кумушек. Ольга тут же налетела на неё, крича о том, что «мы» обзвонили все больницы, все морги! Где же она была, так её и разэтак?

(А какое право Оля имела кричать, если *она сама* была первая всему причиной? По-человечески — понятное, морального — никакого. Но виновата, возможно, я. Я ответила ей жестокосердно, она это жестокосердие понесла дальше.)

Где она была?! И наша отличница и умница сказала, где: с любимым человеком. Поспешное слово... Иногда нужно и придержать при себе поспешные слова!

Несмотря на все подозрения в связи с Наташей, как-то все сразу вдруг поняли, что речь — именно про А. М. (Варя, правда, говорит, что уточнила, а та — подтвердила.) Светлана Борисовна, понятное дело, сразу осела на скамью, хватаясь за сердце. Девочки побежали в директорский кабинет за валокардином. Где-то тут и я появилась.

Потом, говорят ещё, был разговор один на один с Розой Марковной. После разговора Алю уложили спать не в общей спальне, а в Комнате отдыха, на раскладушке. Умно, милосердно.

Утром субботы, сметая всё на своём пути, в гимназию ворвалась мама «ребёнка». (Ах, ребёнка! Аля на девять месяцев старше меня, ей почти восемнадцать.) Ворвалась — закричала с порога, затопала ногами, грозясь судом, следствием, прокуратурой и карой небесной. Её увели в директорский кабинет, где она продолжила бушевать.

После прибыл и отец: он окормляет храм в дальнем селе с названием что-то на Л., недалеко от областного центра, хоть и поближе, чем Троицкое. Как-то не держала я раньше в голове, что Аля, такая начитанная, изящная, — тоже, как и я, простая сельская поповна. Отец прошёл напрямик к директору. Попросил свою матушку выйти, а не то, мол, он её за волосы вытащит. Ах, батюшка, что за умница! Спасение России придёт через русских иереев.

И Алин папа, рассказывают, со Светланой Борисовной договорился, «сторговался» о новых условиях. Родители не будут обвинять гимназию, писать заявления, тревожить инстанции. А гимназия в качестве ответной любезности разрешит ученице одиннадцатого класса Алле Флоренской последние два с небольшим месяца доучиться заочно.

Вот и всё, конец истории Аллочки. Сегодня её уже увезли, она еле успела собрать вещи. Ни с кем не попрощалась, кроме, кажется, Наташи.

Истории-то конец, а что думать про неё, не знаю. Вся я взбаламучена. Отчего-то почти каждая девочка в нашем классе убеждена, что между этими двумя, Алей и А. М., всё *вчера было*, всё *случилось*. «Почти», потому что у Вари, например, особое мнение на этот счёт, непопулярное. Варя мне сказала, что в Алиных глазах разглядела: хоть девочка и влюблена, словно кошка, но «мистер» её не тронул. Якобы те, кто стал женщиной, выглядят иначе. Хм! А что, можно *это* увидеть по чужим глазам?

Вообще, конечно, если и случилось, разве наше это дело?

Но горько, горько! Человек, которого я считала старшим братом, земляком на чужбине, оказался разбойником.

Хотя... он ведь, почём знать, её и спас? От самоубийства спас, которого я так утратила, найдя ту несчастную заколочку? А если спас, можно ли его винить: ведь лучше уж лишиться невинности, но живой остаться? И даже отцы-пустынники падали порой в борьбе с этим грехом, падали — но поднимались. Спросили авву Джиджоя: отче, пал я, что делать? Так поднимись, отвечал авва. И сколько раз подниматься? До самой смерти. (Надо остановиться, а то боюсь слезами ископать бумагу.)

«Джиджоя» ведь всё-таки, вопреки всему, пишу, не «Сыся». И даже неведомо мне, правильно ли пишу. Ах, кто бы надоумил...

* * * * *

24 марта 2009 года, вторник

Жизнь идёт своим чередом. Но, конечно, пищи для сплетен и пересудов одиннадцатому классу теперь хватит до самого выпуска.

За три дня успели оформиться три версии событий, и у каждой — свои сторонницы. Что ж, напишу и я про эти версии, хотя не знаю, не мусор ли.

Версия первая. Это именно учитель английского всё подстроил, рассчитал и даже подготовил Наташу, чтобы та сделала своё безумное заявление. Вылетела Алла с судилища да напрямик ему в белы ручки. А у него уж и автомобиль стоял наготове, и торт, и шампанское. Невероятно, думаю. Как такое вообще можно просчитать? Откажись Ольга затевать суд, и не было бы ничего. Или он и её подкупил? Предел-то нужно класть даже и диким фантазиям!

Версия вторая. Аля хотела А. М. соблазнить, чтобы женить на себе, да только не рассчитала, что уже он женат. Как же он женат, если мне сказал, что холост? Или соврал? А то: человек, который свою ученицу в постель укладывает, может и соврать, конечно. Но как же я бесстыже пишу об этом: разве я там была, держала свечку?

Версия третья. После подозрения в содомии Аля захотела всему миру доказать, что вовсе она не содомитка, а нормальная девушка. Вот и доказала, из девушки да в женщину превратясь. А в третьей, думается мне, есть и доля правды... если *было*, конечно.

Итак, если *случилось* между ними, то доверять я А. М. не смогу. Как вообще могла доверять и раньше?! Как спрашивала про Сатану, про Бога, про жизненный путь?! И за Мишу замуж выйду, вот, чуть не позвонила даже ему сегодня, не поплакалась на судьбу, чуть не попросила совета. Решила отложить пока: он мне человек ещё не близкий, не надо никому заполошно на шею вешаться, словно... некоторые девочки. И четыре строки из Кристины Россетти тоже порву на мелкие части и выброшу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.